



Джоанн Харрис

—

Леденцовые туфельки



Москва
2022

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Х21

Joanne Harris

THE LOLLIPOP SHOES

Copyright © 2007 by Frogspawn Limited

Перевод с английского *Ирины Тогоевой*

Художественное оформление *С. Костецкого*

Харрис, Джоанн.

Х21 Леденцовые туфельки / Джоанн Харрис ; [перевод с английского И. Тогоевой]. — Москва : Эксмо, 2022. — 544 с. — (Яркие страницы).

ISBN 978-5-04-118387-5

На одной из тихих улиц Монмартрского холма нашли прибежище Янна и ее дочери Розетт и Анни. Они мирно и даже счастливо живут в квартирке над своей маленькой шоколадной лавкой. Ветер, который в былые времена постоянно заставлял их переезжать с места на место, затих — по крайней мере на время. Ничто не отличает их от остальных обитателей Монмартра, и возле их двери больше не висят красные саше с травами, отводящими зло. Но внезапно в их жизнь вторгается Золи де л'Альба, женщина в ярко-красных, блестящих, как леденцы, туфлях, и все начинает стремительно меняться...

«Леденцовые туфельки» Джоанн Харрис — это новая встреча с героями знаменитого романа «Шоколад», получившего воплощение в одноименном голливудском фильме режиссера Лассе Халлстрёма (с Жюльетт Бинош, Джонни Дешпом и Джуди Денч в главных ролях), номинированном на «Оскар» в пяти категориях.

**УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44**

© Тогоева И., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-118387-5

Посвящается А. Ф. Х.

Часть первая

СМЕРТЬ

Глава 1

31 октября, среда

Día de los Muertos¹

Это факт относительно малоизвестный, но всего лишь за год мертвым отправляют около двадцати миллионов писем. Люди забывают, что все-таки следовало бы приостановить поток корреспонденции, поступающей на имя покойного, — ох уж эти горюющие вдовы и будущие наследники! — и подписка на журналы не бывает аннулирована; друзья, живущие далеко, остаются неоповещенными, а задолженность в библиотеку — непогашенной. А значит, двадцать миллионов циркуляров, банковских извещений, кредитных карт, любовных писем, рекламных проспектов, поздравительных открыток, анонимных доносов и коммунальных счетов, которые каждый день бросают на коврик у двери или в щель почтового ящика, скапливаются, превращаясь в настоящие груды, падают в лестничный пролет, выползают из переполненных почтовых ящиков на лестничную клетку, никому не нужные валяются на крыльце — ведь адресат их уже никогда не получит. Мертвым нет до них дела. Впрочем, что гораздо важнее, нет до них дела и живым. Живые, погруженные в мелкие повседневные заботы, даже не подозревают, что в двух шагах от них происходит чудо: мертвые возвращаются к жизни.

Не так уж много для этого и нужно: парочка счетов, имя, почтовый индекс — в общем, ничего особенного; все это легко можно найти в любом старом чулане, в мусорной корзине, на

¹ День мертвых (*исп.*). — Здесь и далее прим. перев.

помойке; иногда разорванным на клочки (возможно, лисицами), а иногда лежащим прямо на крыльце, точно подарок. Много можно узнать, роясь в куче ненужной корреспонденции: имена, подробности, касающиеся банковских вкладов, пароли, адреса электронной почты, коды охраны. Если правильно сопоставить все эти данные, можно снять деньги с банковского счета или открыть новый, можно взять в аренду автомобиль, можно даже подать заявление на выдачу нового паспорта. Все равно мертвым такие вещи больше не нужны. В общем, как я и сказала, это подарок, который нужно просто поднять с пола.

Иногда, впрочем, Судьба сама вручает подобные подарки, и тут уж держи ухо востро. *Carpe diem*¹, а кто прозевал удачу, пусть идет к черту.

Вот почему я всегда читаю некрологи и порой умудряюсь раздобыть все необходимые сведения еще до того, как состоятся похороны. Именно поэтому, когда я вижу этот знак Судьбы, а под ним еще и почтовый ящик, полный писем, то принимаю подобный дар с учтивым поклоном и благодарной улыбкой. Разумеется, это был не мой почтовый ящик. Почтовое обслуживание здесь лучше, чем во многих других местах, так что не по адресу письма доставляют редко. Отчасти именно поэтому, кстати, я предпочитаю жить в Париже; ну и еще, конечно, из-за здешней еды, вин, театров, магазинов и поистине неисчерпаемых возможностей. Однако Париж здорово бьет по карману — накладные расходы просто невероятные! — и, кроме того, мне вот уже некоторое время до смерти хочется придумать себе какую-то новую жизнь. Почти два месяца я весьма удачно играла роль преподавательницы одного из лицеев 11-го округа, но в связи с недавно возникшими там неприятностями решила разом покончить с прежней жизнью (прихватив с собой двадцать пять тысяч евро из ведомственных фондов, которые собиралась положить на счет,

¹ Лови день (*лат.*).

предусмотрительно открытый мною на имя бывшей коллеги, и через пару недель незаметно снять) и стала присматривать себе подходящую квартирку.

Сначала я попыталась найти что-нибудь на Левом берегу. Мне это, разумеется, не по карману, но девушка из агентства этого не знала. Так что со своим английским акцентом и документами на имя Эммы Виндзор, с сумочкой от «Малберри», небрежно повешенной на плечо, в платье от Прада, с нежным шепотом обвивавшем мои обтянутые тонкими чулками лодыжки, я вполне могла себе позволить приятную утреннюю прогулку среди богатых особняков и дорогих магазинов.

Я сразу попросила показывать мне только уже пустующее жилье. На Левом берегу имелось несколько роскошных апартаментов с видом на реку; это были квартиры в больших особняках с садиками на крыше или пентхаусы с паркетными полами.

С некоторым сожалением я отвергла их все, хоть и не смогла удержаться от возможности прихватить кое-какие полезные мелочи. Журнал — в целехоньком полиэтиленовом пакете — с номером банковского счета подписчика; несколько банковских уведомлений; а в одном месте меня ждала истине золотая находка: банковская карточка на имя Амели Довиль; чтобы ее активировать, требовалось всего лишь позвонить по телефону.

Я оставила девушке номер своего мобильного. Разговоры по нему оплачивала некая Ноэль Марселен, чье удостоверение личности я раздобыла несколько месяцев назад. Оплата ее счетов производится на самом современном уровне — бедняжка скончалась в прошлом году в возрасте девяности четырех лет, и это означает, что тому, кто попытается отследить мои звонки, придется изрядно попотеть. Мой счет за Интернет — также на ее имя — по-прежнему аккуратно оплачивается. Эта Ноэль слишком дорога мне, жаль было бы ее потерять. Но становиться ею я совершенно не намерена. Во-первых, не хочу, чтобы мне уже исполнилось девяносто

четыре. А во-вторых, мне попросту надоело получать рекламные проспекты всевозможных колясок и подъемников для инвалидов.

Мое последнее удостоверение личности было на имя Франсуазы Лавери, преподавательницы английского языка из лица имени Руссо, 11-й Парижский округ. Возраст — 32 года, родилась в Нанте, вышла замуж за Рауля Лавери и в тот же год овдовела — муж погиб в автомобильной катастрофе накануне первой годовщины со дня свадьбы, что, по-моему, весьма романтично и отчасти объясняет, отчего у нее такой меланхоличный вид. Строгая вегетарианка, довольно застенчивая, старательная, но не слишком способная, то есть для меня никакой угрозы не представляет. В общем и целом довольно милая особа, и это всего лишь означает, что судить по внешнему виду никогда не стоит.

Сама-то я нынче ничуть на нее не похожа. Двадцать пять тысяч евро — сумма немаленькая, и всегда есть шанс, что кто-то заподозрит, где тут собака зарыта. Большинство людей, впрочем, не испытывают ни малейших подозрений — многие не заметили бы и преступления, совершаемого прямо у них под носом, — но я стараюсь так сильно не рисковать; я давно поняла, что куда безопаснее просто все время находиться в движении.

Вот я и путешествую, причем налегке — потрепанный кожаный чемодан и ноутбук «Сони», в котором содержатся данные более чем на сотню подходящих личностей; в общем, я могу в один миг собрать вещички, а за два-три часа и полностью замести все следы.

Именно так исчезла Франсуаза Лавери. Я сожгла все ее документы, корреспонденцию, банковские данные, записи. Закрывает все ее счета. А ее книги, одежду, мебель и прочее передала в Croix Rouge¹. К чему иметь при себе лишние улики?

После этого мне пришлось подыскать себе новое обличье. Я сняла номер в дешевой гостинице, расплатилась кредитной

¹ Красный Крест (фр.).

карточкой Амели, переделась в вещи Эммы и отправилась по магазинам.

Франсуаза одевалась немодно и скучновато: средний каблук, аккуратная прическа. Та, в чьем обличье я выступаю теперь, ничуть на нее не похожа. Зози де л'Альба — так ее звали, и она, в общем, казалась иностранкой, хотя и нелегко было бы с ходу определить, откуда она родом. Она настолько же яркая, насколько Франсуаза была бесцветной, носит драгоценности, причем даже в волосах, обожает яркие цвета, а ее одежда отличается изрядной фривольностью; страшно любит базары и большие «винтажные» магазины, а скромных туфель даже в гроб не наденет.

Подобная перемена облика была мной тщательнейшим образом продумана. Я вошла в магазин как Франсуаза Лавери — в серенькой двойке с ниткой искусственного жемчуга на шее — и через десять минут вышла оттуда совершенно неузнаваемой.

Но остается главная проблема: куда пойти? О Левом берегу, хотя это и весьма соблазнительно, даже речи идти не может, хотя я считаю, что с Амели Довиль вполне можно содрать еще несколько тысяч, прежде чем и ее отправить на помойку. Разумеется, у меня есть и другие источники средств, не считая самого недавнего — мадам Бошан, исполнительного секретаря, занимающегося финансами в том департаменте, где я прежде служила.

Открыть кредитный счет ничего не стоит. Парочки использованных счетов за коммунальные услуги или даже старых водительских прав вполне достаточно. А при нынешнем росте количества товаров, покупаемых в кредит, подобных возможностей с каждым днем все больше и больше.

Впрочем, мои потребности простираются гораздо дальше простого поиска средств к существованию. Скука, обыденность — это ужасно. Мне необходим простор, возможности для приложения моих способностей и умений, я жажду приключений, перемен, сражений с Судьбой.

Настоящей жизни.

Именно такую возможность Судьба мне и предоставила, причем как бы случайно, когда ветреным утром в конце октября на Монмартре я, взглянув на витрину какой-то лавчонки, заметила аккуратную маленькую табличку:

*Fermé pour cause de décès*¹.

Я давно не бывала в этих местах. И успела позабыть, как мне когда-то здесь нравилось. Монмартр, по словам местных жителей, — последняя деревня, оставшаяся на территории Парижа, а уж эта часть Монмартрского холма, Butte², являет собой почти пародию на сельскую Францию с ее кафе и крошечными *сгêperies*³; с ее домиками, выкрашенными в розовый или фисташковый цвет, с фальшивыми ставнями на окнах и геранями на каждом подоконнике; повсюду этакая старательно созданная живописность, точно на эскизе киношной декорации, исполненная поддельного очарования и даже не особенно скрывающая, что внутри у нее не душа, а камень.

Возможно, именно поэтому мне здесь так нравится. Почти идеальный фон для такой персоны, как Зози де л'Альба. А оказалась я там почти случайно: остановилась на какой-то площади за Сакре-Кёр, заказала кофе с круассаном в баре под названием «Крошка зяблик»⁴ и уселась за столик на улице.

Голубая жестяная вывеска высоко на углу сообщала, что это место называется Place des Faux-Monnaieurs⁵. Тесная крошечная площадь, похожая на аккуратно застеленную кровать. Кафе, блинная, парочка магазинов. Больше ничего. Даже ни одного дерева, чтобы смягчить ее четкие каменные границы. Но по какой-то причине один из магазинчиков все же при-

¹ Закрыто в связи с похоронами (*фр.*).

² Холм, пригорок (*фр.*).

³ Блинная (*фр.*).

⁴ Название «Крошка зяблик» («Le P'tit Pinson», букв.: «маленький зяблик») образовано от фамилии владельца бара Лорана Пансона, о котором речь пойдет далее.

⁵ Площадь Фальшивомонетчиков (*фр.*).

влек мое внимание — весьма жеманного вида confiserie¹; во всяком случае, мне так показалось, хотя надпись над дверями была почти стерта. Витрина наполовину закрыта жалюзи, но с того места, где я сидела, мне было все же видно, что именно там выставлено; в глаза бросалась и ярко-голубая, точно кусочек небес, дверь. Через площадь до меня доносился негромкий мелодичный звон: висевшая над дверью магазина связка колокольчиков время от времени звенела на ветру, точно посылая неведомо кому некие сигналы.

Кто знает, почему эта кондитерская вызвала мой интерес. В лабиринте улиц, протянувшихся по склонам Холма, таких крошечных магазинчиков полным-полно; они, ссутулившись, стоят на перекрестках вымощенных булыжником улиц и похожи на усталых кающихся грешников. С узкими фронтонами, горбатые, они жмутся к мостовой, и зачастую внутри у них очень сыро, однако аренда такого помещения обойдется в целое состояние; тем, что эти магазинчики до сих пор на плаву, они обязаны главным образом глупости туристов.

И квартиры над ними тоже крайне редко оказываются пристойными. Маленькие, неудобные комнаты расположены слишком далеко друг от друга. Ночью, когда у подножия Холма оживает огромный город, в таких квартирах неизменно шумно; зимой в них холодно, а летом наверняка невыносимо жарко, потому что толстая старая черепица насквозь пропитывается тяжким пылом солнца, раскаленные лучи которого бьют к тому же прямо в единственное окошко, прорубленное в крыше и такое узкое, не шире восьми дюймов, что света оно почти не пропускает, только этот удушающий зной.

И все же... что-то притянуло мой взгляд. Возможно, письма, торчавшие из металлических челюстей почтового ящика, точно высунутый язык озорника. Или едва ощутимый аромат мускатного ореха и ванили (а может, это был просто запах сырости?), долетавший из-за той небесно-голубой двери. Или ветер, игравший подолом моей юбки и шаловливо перебиррав-

¹ Кондитерская (*фр.*).

ший колокольчики над дверью. Или объявление, аккуратно написанное от руки и таившее в себе некий невысказанный, мучительно загадочный смысл:

Закрывается в связи с похоронами.

К этому времени я уже покончила с кофе и круассаном. Расплатилась, встала и пошла к этому магазинчику, желая рассмотреть его поближе. Оказалось, что это chocolaterie, шоколадная лавка; подоконник крошечной витрины был весь заставлен коробками и жестянками, а за ними в полутьме я сумела разглядеть подносы, на которых возвышались пирамиды всевозможных лакомств, накрытые округлыми стеклянными колпаками и похожие на свадебные букеты из прошлого столетия.

У меня за спиной, в баре «Крошка зяблик», два пожилых господина закусывали вареными яйцами и длинными ломтями хлеба с маслом, а patron в фартуке, склонившись над каким-то грессбухом, гневно разглагольствовал о том, что некто по имени Пополь здорово ему задолжал.

Если не считать этих людей, вокруг по-прежнему не было ни души; лишь какая-то женщина вдалеке подметала тротуар да парочка художников с мольбертами под мышкой направлялась к площади Тертр.

Один из них, молодой человек, перехватив мой взгляд, вскричал:

— О, привет! Вы-то мне и нужны!

Охотничий клич уличного портретиста. Я сразу его узнала — сама не раз бывала в такой шкуре; мне хорошо известно это выражение радостного восторга на лице художника, якобы свидетельствующее о том, что он нашел-таки свою музу, которую искал столько лет, и теперь, сколько бы ни содрал с клиентки, даже если цена будет просто грабительской, это все равно окажется меньше истинной стоимости его будущего гениального творения.

— Нет уж, увольте, — сухо сказала я. — Найдите для своего бессмертного шедевра кого-нибудь другого.

В ответ он молча пожал плечами, скорчил рожу и побрел следом за своим дружкой. Теперь эта chocolaterie была в полном моем распоряжении.

Я мельком глянула на письма, непристойно торчавшие из щели почтового ящика. Особо рисковать не имело смысла. Но отчего-то этот крошечный магазинчик прямо-таки притягивал меня, манил, как манит порой что-то блеснувшее меж камнями на бульжной мостовой — то ли монетка, то ли колечко, а может, и просто клочок фольги, в котором отражается солнце. Да и в воздухе словно висел тихий шепот обещаний, и, кроме всего прочего, был Хеллоуин, Dia de los Muertos, а День мертвых всегда был для меня счастливым, ибо это день концов и начал, день недобрых ветров и коварных благодеяний, ночных костров и тайн; день чудес — и, разумеется, мертвых.

Я еще раз быстро огляделась. Никто на меня не смотрел. И я была совершенно уверена, что никто не заметил, как я одним быстрым движением сунула эти письма в карман.

Осенний ветер налетал сильными порывами, поднимая на площади клубы пыли. Ветер пахнул дымом — но не парижским, а дымом моего детства, которое я хоть и нечасто, но все же вспоминаю; в нем чувствовался аромат ладана, миндального крема и опавших листьев. На Холме деревьев практически нет. Собственно, это просто скала, и даже яркая, как на свадебном пироге, глазурь едва ли способна скрыть то, что сам этот «пирог» совершенно лишен вкуса. А вот небо над Монмартром точно хрупкая яичная скорлупка, выкрашенная голубой краской и разрисованная сложным узором из белых полос — это реактивные самолеты начертали переплетающиеся следы, похожие на мистические символы.

И среди них я, в частности, различила кукурузный початок, причем очищенный, — а это всегда означает подношение, подарок.

Я улынулась. Неужели просто совпадение?
Смерть — и подарок? И все в один день?

Однажды, когда я была совсем маленькой, мать отправилась со мной в Мехико, желая показать мне ацтекские руины и отпраздновать День мертвых. Мне ужасно нравилась драматичность происходящего: цветы, и pan de muerto¹, и пение, и сахарные черепа. Но больше всего мне понравилась пиньята — раскрашенная фигурка животного из папье-маше, увешанная шутихами и битком набитая сладостями, монетками и маленькими сверточками-подарками.

Суть игры заключалась в том, чтобы, подвесив такую пиньяту над дверью, швырять в нее палками и камнями до тех пор, пока она не расколется и не «покажет», какие подарки у нее внутри.

Смерть и подарок — два в одном.

Нет, это не могло быть простым совпадением. И сам этот день, и этот магазин, и этот знак в небесах — они возникли на моем пути словно по велению самой Миктекасиуатль². Это была как бы моя собственная, личная пиньята...

Все еще улыбаясь, я повернулась и вдруг заметила, что за мной кое-кто наблюдает. Шагах в десяти от меня стояла девочка лет одиннадцати-двенадцати, в ярком красном пальтишке и коричневых школьных туфлях, явно уже не новых. Меня поразили ее роскошные волосы, черные, шелковистые и вьющиеся, как у святых на византийских иконах. Девочка смотрела на меня совершенно равнодушно, слегка склонив голову набок.

На мгновение мне показалось, что она заметила, как я совала в карман содержимое почтового ящика. Кто ее знает, сколько времени она уже там простояла, так что я, одарив ее самой обольстительной своей улыбкой, поглубже засунула в карман украденные письма.

— Привет, — сказала я. — Тебя как зовут?

— Анни.

¹ Хлеб мертвого (*исп.*).

² Миктекасиуатль — в мифологии индейцев Центральной Америки жена бога смерти и подземного мира Миктлантекутли.

Но на мою улыбку она не ответила. Глаза у нее были странного цвета — сине-зелено-серые, а губы такие красные, что казалось, она их накарсила. Все это в холодном утреннем свете выглядело просто потрясающе; я смотрела на нее и не могла насмотреться; мне казалось, что глаза ее сияют все ярче, становясь удивительно похожими на синее осеннее небо.

— Ты ведь нездешняя, верно, Анни?

От неожиданности она захлопала глазами; похоже, ее удивило, как это я догадалась. Дело в том, что парижские дети никогда не разговаривают с незнакомцами: подозрительность у них в крови. А эта девочка вела себя по-другому — она, правда, тоже держалась осторожно, но никакой враждебности к незнакомым людям в ней не чувствовалось, да и мое обаяние явно не оставило ее равнодушной.

— Откуда вы знаете? — все-таки спросила она.

Один-ноль в мою пользу. Я улыбнулась.

— Я по твоему выговору догадалась. Откуда ты? С юга?

— Не совсем, — уклончиво ответила она.

Но теперь уже и сама улыбнулась.

Из беседы с ребенком можно извлечь немало полезного. Имена, профессии, те мелкие бытовые детали, которые придают бесценный налет естественности исполнению той или иной роли. Большая часть интернетовских паролей — это имена детей или супругов, а порой даже кличка любимой кошки или собаки.

— Скажи, Анни, разве в такое время ты не должна быть в школе?

— Только не сегодня. Сегодня же праздник. И потом...

Она выразительно глянула на дверь с написанным от руки объявлением.

— «Закрывается в связи с похоронами», — вслух прочитала я.

Она кивнула.

— А кто умер? — спросила я.

Ярко-красное пальтишко Анни казалось мне уж больно неподходящим для похорон, да и выражение лица ее, пожалуй, ничуть не свидетельствовало о тяжелой утрате.

Ответила она, правда, не сразу, но я заметила, как блеснули серо-голубые глаза; теперь она смотрела на меня несколько высокомерно, словно решая про себя, является ли мой вопрос проявлением вульгарной бестактности или же продиктован искренним сочувствием.

Пусть себе смотрит сколько угодно, решила я. Я привыкла, что на меня пялят глаза. Это случается порой даже в Париже, где красивых женщин более чем достаточно. Я сказала «красивых», но ведь красота — это всего лишь иллюзия, простенькие чары, даже почти что и не магия вовсе. Определенный наклон головы, определенная походка, соответствующая данному моменту одежда — и любая способна стать красавицей.

Ну, почти любая.

Я заставила ее смотреть мне прямо в глаза, воспользовавшись самой обворожительной своей улыбкой — милой, кокетливой, чуть печальной; я как бы на мгновение стала ее старшей сестрой, которой у нее явно никогда не было, — очаровательной взъерошенной бунтаркой с сигаретой «Голуаз» в руке. На мне одежда немыслимых неоновых цветов, юбочка в обтяжку и шикарные непрактичные туфли, в каких, не сомневаюсь, и сама Анни втайне мечтает щеголять.

— Не хочешь говорить? — спросила я.

Она еще несколько секунд молча смотрела на меня. Она, безусловно, старший ребенок в семье (если я хоть что-нибудь в этом смысле), безумно устала от необходимости постоянно быть хорошей девочкой и уже стоит на пороге того опасного возраста, которому свойственно бунтарство. Цвета ее ауры были необычайно чисты; в них я читала определенное своеволие, упрямство, печаль и еле заметный гнев; а еще в них яркой нитью сквозило нечто, пока не совсем мне понятное.

— Ну, Анни, скажи мне: кто умер?

— Моя мать, — спокойно ответила она. — Вианн Роше.

Глава 2

31 октября, среда

Вианн Роше. Как давно я носила это имя! Я уже почти позабыла, какое оно приятное на ощупь, какое теплое, уютное, словно пальто, некогда любимое, но уже сто лет висящее в шкафу. Я столько раз меняла свое имя — точнее, оба наших имени, когда мы, перебираясь из города в город, следовали за тем ветром, — что желание называть себя Вианн Роше давным-давно должно было бы угаснуть. Та Вианн Роше давно мертва. И все же...

И все же мне было приятно называться Вианн Роше. Мне нравилось, какую форму обретает это имя, когда его произносят чужие губы, — Вианн, точно улыбка. Точно слово приветствия.

Теперь у меня, конечно, новое имя, и не столь уж отличное от старого. И жизнь у меня иная; кто-то, может, скажет: лучше старой. Во всяком случае, она совсем не такая, как прежде. И причина тому — Розетт, и Анук, и все то, что мы оставили в Ланскне-су-Танн в те пасхальные дни, когда ветер опять переменялся.

Ах, тот ветер... Вот он и сейчас дует — действует как бы украдкой, но попробуй его послушаться. Это ведь он всю жизнь диктовал нам каждый шаг.

Моя мать чувствовала его, и я тоже чувствую — даже здесь, даже теперь, — и он несет нас, крутит, как осенние листья, загоняет в тупик, заставляет плясать, а потом разбивает в клочья о бульжную мостовую.

V'là l'bon vent, v'là l'joli vent...¹

Я думала, мы заставили его замолчать навсегда. Но разбудить его способна любая мелочь: невзначай брошенное слово, жест, даже чья-то смерть. Впрочем, незначительных

¹ Вот снова дует добрый ветер, веселый ветер... (*фр.*)

вещей не бывает. Все имеет свой смысл и свою цену; и одно прибавляется к другому, пока не качнется чаша весов — и вот мы уже снова в пути, бредем по дорогам, говоря себе: ну что ж, возможно, в следующий раз...

Но теперь никакого следующего раза не будет. Теперь я никуда больше не побегу. Я не желаю опять быть вынужденной все начинать сначала; нам столько раз приходилось это делать — и до Ланскне, и после. Но теперь мы останемся. Что бы ни случилось. Чего бы нам это ни стоило, мы останемся здесь.

Мы остановились в первой же деревне, где не было церкви. Мы прожили там шесть недель, а потом отправились дальше. Три месяца, потом неделю, месяц, еще неделю — мы переходили с одного места на другое, каждый раз меняя свои имена, до тех пор, пока моя беременность не стала заметной.

К этому времени Анук было почти семь. Она пришла в восторг, узнав, что у нее будет младшая сестренка; ну а я чувствовала себя безумно усталой. Я устала от этих бесконечных деревень — река, маленькие домишки, герани на подоконнике, — устала от тех взглядов, которые люди бросали на нас, особенно на Анук, и от вопросов, всегда одних и тех же, которые они задавали.

«А вы издалека? У вас что, здесь родственники? Вы у них остановитесь? А месье Роше скоро к вам присоединится?»

И когда мы им отвечали, на их лицах появлялось то самое, хорошо нам знакомое выражение — оценивающее, принимающее во внимание и нашу поношенную одежду, и наш единственный чемодан, и нашу повадку беженцев, свидетельствовавшую о слишком большом количестве железнодорожных станций, пересадок и жалких гостиничных номеров, аккуратно прибранных нами перед уходом.

До чего же мне хотелось стать наконец свободной! По-настоящему свободной — нам этого никогда не удавалось сделать. Жить там, где хочется, на одном месте, и, чувствуя порывы ветра, не обращать внимания на его зов.

Но как мы ни старались, слухи следовали за нами по пятам. Они замешаны в какой-то скандальной истории, шептались вокруг. Причем, говорят, с участием священника. Вы только гляньте на эту женщину! Это же просто цыганка какая-то! Говорят, она связалась с речными людьми, называла себя целительницей, утверждала, что хорошо разбирается в травах. А потом кто-то там умер — то ли отравили, то ли просто не повезло...

В общем, примерно в таком духе. И эти слухи расплзались, как сорная трава летом, и мы, спотыкаясь о них на каждом шагу, спешили прочь, а они гнались за нами по пятам, свирепо щелкая зубами, и постепенно я начала понимать.

Видно, что-то случилось еще в самом начале нашего пути. Что-то изменило и нас самих, и отношение к нам. Возможно, мы на один день — или на одну неделю — дольше, чем нужно, задержались в какой-то из этих деревень. И что-то стало не так, как прежде. И тени удлиннились. И мы постоянно убежали от чего-то.

Но от чего? Тогда я этого еще не понимала, но уже чувствовала, видя собственное отражение в гостиничных зеркалах, в сияющих витринах магазинов. Раньше я всегда носила красные туфли, индейские юбки с колокольчиками на подоле, купленные в секонд-хенде пальто с вышитыми на карманах маргаритками, джинсы, расшитые цветами и листьями. Теперь же я старалась слиться с толпой. Черные пальто, черные туфли, черный берет на черных волосах.

Анук ничего не понимала.

— Ну почему мы на этот-то раз не могли остаться? — повторяла она свой давнишний припев.

А меня приводило в ужас даже само название того городка; те страшные воспоминания, точно колючки чертополоха, липли к нашей дорожной одежде. И день за днем мы шли вслед за ветром. А по ночам спали, прижавшись друг к другу, в какой-нибудь комнатенке над придорожным кафе; или варили себе горячий шоколад на переносной плитке; или

зажигали свечи и показывали на стене «театр теней»; или придумывали замечательные истории о волшебстве, о ведьмах, о пряничных домиках, о черных людях, которые превращались в волков, а порой никак не могли снова превратиться в людей.

А потом эти истории нам поднадоели. И та настоящая магия, та магия, с которой мы прожили всю жизнь, магия моей матери — чары, амулеты, мистификации, блюдечко с солью у порога, красные шелковые саше, призванные умиловить мелких божков, — стала нас отчего-то раздражать. Тем летом мне все казалось, что это злобный паук, который любую удачу может превратить в невезение, стоит часам пробить полночь, поймал в свою паутину все наши мечты. И как только я произносила хотя бы крошечное заклинание, или делала какой-нибудь простенький магический фокус, или вынимала из колоды хоть одну гадальную карту, или осмеливалась начертать на двери хотя бы одну руну, отвращающую беду, сразу поднимался тот ветер; он тянул нас за одежду, обнюхивал, точно голодный пес, и гнал нас то в одну сторону, то в другую.

И все же мы ухитрились бежать впереди него; летом нанимались собирать вишни и яблоки, а в остальное время подрабатывали в кафе и ресторанах, стараясь отложить хоть немного денег, и в каждом городе меняли свои имена. Мы стали очень осторожными. Нам пришлось это сделать. Мы прятались, точно куропатки в поле. Не летали и не пели.

И понемножку, потихоньку карты Таро были совсем позабыты, и травы мои оказались никому не нужны, и особые дни уже никто не отмечал, и никто не обращал внимания на то, что луна прибывает или убывает, и знаки, что на счастье были начертаны у нас на ладонях черными чернилами, побледнели и смылись.

Наступил период относительного спокойствия. Какое-то время мы жили в городе; я даже подыскала нам жилье, выбрала подходящую школу и больницу. Потом купила на marché

aux ruses¹ дешевенькое обручальное кольцо и представлялась всем как мадам Роше.

А потом, в декабре, родилась Розетт — в пригородной больнице близ Рена. Мы заранее подыскали себе место, где можно было бы какое-то время прожить спокойно, — Ле-Лавёз, деревушку на берегу Луары. Мы сняли квартирку над блинной. Нам там нравилось. Мы с удовольствием там бы и остались...

Но у декабрьского ветра на наш счет имелись иные планы.

Vlà l'bon vent, v'là l'joli vent,
Vlà l'bon vent, ma mie m'apelle...²

Этой колыбельной научила меня мать. Это старинная песенка, любовная, колдовская, и я пела ее, чтобы успокоить тот ветер, заставить его хотя бы теперь оставить нас и лететь дальше. Я пела ее и для того, чтобы убаюкать то крошечное мяукавшее существо, которое принесла с собой из больницы. Малютка не желала ни есть, ни спать, только жалобно кричала, как кошка, и каждую ночь ветер за окнами визжал и метался, точно разгневанная мегера, и каждую ночь мне приходилось петь эту песенку, чтобы он уснул. Я называла его добрым ветром, веселым ветром, пытаясь умиловить, как это делали когда-то простые люди, называя злобных фурий добрыми господами, хорошими господами, надеясь избежать их мести.

Неужели благочестивые и мертвых преследуют?

Они снова нашли нас там, на берегу Луары, и снова мы вынуждены были бежать. На этот раз в Париж — в Париж, город моей матери и место моего рождения, то единственное место, куда, как я поклялась, мы никогда не вернемся. Но большой город дарует возможность стать невидимками тем, кто к этому стремится. Здесь мы перестали быть попугаями в стае воробьев; теперь у нас такое же оперение, что и у здеш-

¹ Блошинный рынок (*фр.*).

² Вот снова дует добрый ветер, веселый ветер,
Мой милый друг меня зовет... (*фр.*)

них птиц, — слишком заурядное, слишком тусклое и на мой взгляд, и на чужой, по-моему, тоже. Моя мать когда-то бежала в Нью-Йорк, желая там умереть; а я бежала в Париж, мечтая родиться заново. Больна ты или здорова? Счастлива или горюешь? Богата или бедна? Этому городу все равно. У этого города есть и другие дела, поважнее. Не задавая вопросов, он проходит мимо тебя, он идет своим путем и даже плечами от удивления не пожмет.

И все же тот год оказался очень тяжелым. Было холодно, малышка плакала, мы ютились в крошечной комнатушке неподалеку от бульвара Шапель, ночью по стенам метались красные и зеленые неоновые огни рекламы, и начинало казаться, что сейчас ты просто сойдешь от этого с ума. Я могла бы остановить эти огни — я знаю одно заклинание, благодаря которому сделать это было бы так же легко, как повернуть в комнате выключатель, — но ведь я поклялась: больше никакой магии, а потому спать нам удавалось урывками, между вспышками красного и зеленого света. И Розетт продолжала непрерывно плакать до самого Крещения (так мне кажется), и впервые наш *galette de rois*¹ был не домашнего приготовления, а куплен в магазине, да, впрочем, никому особенно и праздновать-то не хотелось.

Ах, как я в тот год ненавидела Париж! Я ненавидела этот холод, эту глубоко въевшуюся сажу и эти запахи; ненавидела грубость парижан; ненавидела грохот железнодорожных путей; ненавидела насилие и враждебность, которыми этот город пропитан. Впрочем, вскоре я поняла, что Париж — это вовсе и не город, а просто целая куча таких русских кукол, матрешек, которые вставляются одна в другую, — и у каждой свои привычки и предрассудки; у каждой своя церковь, или мечеть, или синагога; и все они заражены фанатизмом, сплетнями, все члены каких-то организаций, и среди них, как и повсюду, есть козлы отпущения, неудачники, любовники,

¹ Блинный пирог по-королевски (*фр.*).

вожаки и отверженные, подлежащие всеобщему осмеянию и презрению.

Некоторые люди относились к нам хорошо, например индийская семья, что присматривала за Розетт, пока мы с Анук ходили на рынок, или бакалейщик, который отдавал нам подпорченные фрукты и овощи из своей кладовой. От других доброго отношения даже и ждать не стоило. Скажем, от тех бородатых мужчин, которые сразу отворачивались, если мы с Анук проходили мимо их мечети на улице Мирра. Или от женщин у входа в церковь Святого Бернара, которые и вовсе смотрели на меня, как на грязь.

С тех пор многое в нашей жизни значительно переменялось. Мы наконец нашли подходящее место. Меньше чем в полчаса ходьбы от бульвара Шапель. Оказалось, что на площади Фальшивомонетчиков мир совсем иной.

Монмартр — суцая деревня, утверждала моя мать; этакий остров, вздымающийся над парижским туманом.

Это, конечно, не Ланскне, но все же место совсем не плохое; у нас маленькая квартирка над магазином, там есть и кухонька, и комнатка для Розетт, и даже для Анук нашлась каморка на самом верху, где под свесами крыши выют гнезда птицы.

В нашей шоколадной лавке раньше размещалось маленькое кафе, принадлежавшее одной пожилой даме по имени Мария-Луиза Пуссен, которая жила здесь, на втором этаже, уже лет двадцать. Мадам успела похоронить и мужа, и сына, но и теперь, на седьмом десятке, чувствуя себя неважно, все же упрямо отказывалась уходить от дел. Ей требовалась помощница, а мне — работа. Я согласилась вести ее дела за небольшое вознаграждение и разрешение жить наверху, а по мере того, как мадам становилось все труднее оказывать мне поддержку, мы решили преобразовать кафе в шоколадную лавку.

Я заказала припасы, составила финансовые отчеты, организовала доставку, бегала по распродажам, руководила ремонтными и строительными работами. Подобная суета про-

должалась более трех лет, и мы к ней даже как-то привыкли. Возле нашего дома нет и крошечного садика, да и квартирка у нас тесновата, зато из окошка виден Сакре-Кёр, парящий над улицами, точно воздушный корабль. И Анук поступила в школу — в лицей Жюля Ренара, совсем рядом с бульваром Батиньоль, — и учится очень хорошо, умница моя, и много работает, так что я ею горжусь.

Розетт уже почти четыре года, и она, конечно, в школу не ходит, а остается со мной в магазине и забавляется тем, что выкладывает на полу орнамент из пуговиц и конфет, подбирая их по цвету и по форме, или рисует, заполняя в альбоме страницу за страницей маленькими фигурками различных животных. Она учится языку глухонемых и быстро усвоила те жесты, которые соответствуют словам «хорошо», «еще», «снова», «обезьяна», «утки», а совсем недавно — к большому восторгу Анук — она выучила еще и слово «дерьмо».

В обеденный перерыв мы закрываем магазин и идем гулять в парк Тюрлюр, где Розетт нравится кормить птичек, или проходим чуть дальше, на монмартрское кладбище, которое особенно любит Анук — за его мрачное великолепие и множество кошек. А иногда я просто болтаю с хозяевами других магазинов и кафе, расположенных в нашем quartier¹. Например, с Лораном Пансоном, владельцем небольшого грязноватого кафе-бара на той стороне площади; или с посетителями его заведения, по большей части завсегдатаями, которые приходят туда завтракать и остаются там до обеда; или с мадам Пино, что продает на углу почтовые открытки и всякую религиозную макулатуру; или с уличными художниками, обычно располагающимися посреди площади Тертр, где побольше туристов.

Существует строгое разграничение между жителями Butte, то есть вершины Холма, и прочими обитателями Монмартра. Первые считают себя во всех отношениях выше остальных — во всяком случае, мои непосредственные соседи на площади

¹ Квартал (*фр.*).

Фальшивомонетчиков абсолютно в этом уверены. И вообще, согласно их мнению, Холм — это последний аванпост истинно парижского духа в городе, где ныне правят иностранцы.

Здесьние жители никогда не покупают шоколад. Это строгое, хотя и неписаное правило. Некоторые места и существуют-то исключительно для аутсайдеров, например булочная-кондитерская на площади Галетт, с ее зеркалами в стиле ар-деко, цветными витражами и барочными колоннами из миндального печенья. Местные же ходят на улицу Трех Братьев в более дешевую и простую булочную-кондитерскую: там и хлеб лучше, и круассаны каждый день пекут. А едят они у Пансона в «Крошке зяблике», где столы покрыты дешевым пластиком и всегда есть *plat du jour*¹, тогда как все «пришлые» вроде нас втайне предпочитают такие заведения, как «Богема» или, хуже того, «Розовый дом», куда истинные сыновья и дочери Холма даже носа не кажут; и уж они бы точно никогда не стали позировать художнику на террасе кафе или на площади Тертр и к мессе в Сакре-Кёр ни за что не пошли бы.

Нет, к нам в магазин заходят действительно в основном туристы или приезжие. Хотя и у нас есть свои завсегдатаи, например мадам Люзерон, которая заходит каждый четверг по пути на кладбище и всегда покупает одно и то же — три ромовых трюфеля, ни больше, ни меньше, в подарочной коробочке, обвязанной лентой. Или та крошечная белокурая девчушка с обкусанными ногтями, которая почти ничего не покупает — волю испытывает. Или Нико из итальянского ресторана, что на улице Коленкур; он бывает у нас почти каждый день, и его страстная любовь к шоколаду — как и вообще к еде — напоминает мне об одном человеке, которого я когда-то знала.

Бывают и случайные покупатели. Те, кто заходит просто посмотреть, или купить подарок, или маленькое поощрение ребенку — витую леденцовую сосульку, коробочку засахарен-

¹ Дежурное блюдо (*фр.*).

ных фиалок, упаковку марципанов или pain d'épices¹, розовую сливочную помадку или ананасовые цукаты, вымоченные в роме и начиненные гвоздикой.

Мне известны все их предпочтения. Я знаю, что нужно каждому, но никогда не скажу этого вслух. Слишком опасно. Анук сейчас уже одиннадцать, и порой я почти физически ощущаю его, то ужасное знание, что трепещет и мечется у нее в душе, точно зверек в клетке. Анук, мое летнее дитя! В былые времена она ни за что не смогла бы солгать мне, как не смогла бы, например, разучиться улыбаться. Моя Анук, которая когда-то любила лизать мне лицо или бусы у меня на шее, желая сказать: я люблю тебя! — и делала это даже в общественных местах. Моя Анук, моя маленькая незнакомка. Теперь она все сильнее отдаляется от меня, и я не всегда могу понять ее странные настроения, ее загадочное молчание, ее поразительные сказки и истории и тот ее особенный взгляд, каким она порой на меня смотрит — прищурившись и словно пытаясь разглядеть в воздухе надо мной нечто полузабытое.

Мне, разумеется, пришлось изменить и ее имя. Теперь я стала Янной Шарбонно, а она — Анни, хотя для меня она всегда будет Анук. Но дело совсем не в этих новых именах. Мы и раньше столько раз меняли их. Нет, из нашей жизни ушло, ускользнуло нечто иное. Не знаю, что именно, но чувствую: чего-то мне не хватает.

Она же просто растет, уговариваю я себя. Где-то вдали, точно на противоположном конце огромного зеркального зала, мелькает уменьшенная расстоянием Анук — девятилетняя, все еще исполненная скорее солнечного света, а не тени; затем семилетняя; затем шестилетняя, идущая вперевалочку в желтых резиновых сапожках; Анук с Пантуфлем, неясный подскакивающий силуэт которого виднеется у нее за спиной; Анук, зажавшая в маленьком розовом кулачке огромный ком сахарной ваты... Все это сейчас, конечно, ушло, точнее, уходит,

¹ Коврижка (*фр.*).

скрывается за рядами будущих Анук — Анук тринадцатилетней, уже открывшей для себя мальчиков, Анук четырнадцатилетней, Анук — нет, это просто невозможно! — двадцатилетней, стремящейся куда-то к новым горизонтам...

Интересно, что она еще помнит из прошлого? Четыре года — большой срок для ребенка ее возраста, да она больше и не говорит ни слова ни о Ланскне, ни о магии, ни, увы, даже о Ле-Лавёз, хотя иногда у нее все же кое-что невольно проскальзывает — какое-то имя, какие-то воспоминания, — и эти случайные оговорки для меня свидетельствуют о многом, куда большем, чем думает она сама.

Но семь и одиннадцать — это весьма далекие друг от друга континенты. Надеюсь, я все же неплохо поработала. Во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы удержать того зверя в клетке, а ветер — в состоянии относительного покоя, и пусть теперь деревня на берегу Луары представляется Анук всего лишь поблекшей открыткой, присланной с острова сновидений.

Вот так я и стерегу свою правду, а земля все продолжает вертеться со всем своим добром и злом, но мы держим наши колдовские умения при себе и никогда ни во что не вмешиваемся — никогда не пускаем их в ход даже ради друзей. И никогда не делаем даже таких пустячных магических жестов, как руна на счастье, небрежно начертанная на крышке конфетной коробки.

Я понимаю, это, в общем, небольшая плата почти за четыре года спокойной жизни. Но порой мне хочется знать: сколько мы уже заплатили за то, чтобы нас оставили в покое, и сколько еще придется платить?

Мать часто рассказывала мне одну старинную историю — о юноше, который прямо на дороге продал свою тень бродячему торговцу в обмен на дар вечной жизни. Он получил желаемое и пошел себе дальше, страшно довольный заключенной сделкой, — ну какая мне польза от тени, думал он, от нее явно имело смысл избавиться.

Но проходили месяцы, годы, и юноша начал кое-что понимать. Выйдя из дома, он не отбрасывал тени; ни в одном зеркале он не видел отражения своего лица; и ни в одном пруду, ни в одном озере, какой бы тихой ни была там вода, он не мог себя разглядеть. А вдруг я превратился в невидимку, как-то даже подумал он. В солнечные дни он старался не выходить из дому, избегал он также и лунных ночей, у себя дома разбил все зеркала, а окна изнутри закрыл ставнями — но ни удовлетворения, ни покоя это ему не принесло. Невеста его оставила; друзья состарились и умерли. А он все жил да жил в вечном полумраке своего дома, пока однажды в полном отчаянии не пошел к священнику и не признался в том, что совершил.

И священник, который в те дни, когда юноша заключил свою сделку, был еще молод, а теперь стал желтым, как старые кости, трясущимся стариком, только головой покачал и сказал ему:

— Ты, сынок, не торговца встретил тогда на дороге, а самого дьявола. Это с ним ты заключил сделку, а сделка с дьяволом обычно кончается тем, что люди теряют свою душу.

— Но ведь я отдал всего лишь тень! — запротестовал юноша.

И снова дряхлый священник покачал головой.

— Человек, который не отбрасывает тени, — это, если честно, и не человек вовсе, — сказал он и отвернулся, ничего более не прибавив.

Что ж, юноша вернулся домой. А наутро его нашли повесившимся на ветке дерева. И солнце светило прямо ему в лицо, а на траве у него под ногами лежала его длинная тонкая тень.

Это всего лишь притча, конечно, но отчего-то она постоянно приходит мне на ум, особенно по ночам, когда я не могу уснуть, а ветер тревожно завывает за окном. И тогда я сажусь в постели, поднимаю руки и проверяю, видна ли на стене моя собственная тень.

И я замечаю, что все чаще и чаще мне хочется проверить, есть ли тень у Анук.

Глава 3

31 октября, среда

Ну и дела! Вианн Роше. Надо же было сморозить такую глупость! И кто меня только за язык дернул. Ну почему я веч-но несую всякую чушь? Я и сама часто не могу этого понять. Сказала потому, наверное, что мама подслушивала. И я очень рассердилась. Я теперь вообще часто сержусь.

И еще, возможно, из-за этих туфель. Ах, какие у нее были потрясающие туфельки! На высоких каблучках, ярко-красные, как помада, и блестящие, как леденец. Они сверкали на бульжной мостовой, точно драгоценные камни. Других таких туфель в Париже просто не встретишь. Во всяком случае, на обычных людях — уж точно. А мы и есть обычные люди — по крайней мере, мама так говорит, хотя порой по ее поступкам этого и не скажешь.

Ах, какие туфельки...

Цок-цок-цок — простучали они по камням мостовой и за-мерли прямо напротив нашей лавки, а их хозяйка принялась заглядывать внутрь.

Сначала, со спины, она даже показалась мне знакомой. Ярко-красное пальто в тон туфлям. Светло-каштановые, цвета кофе со сливками, волосы стянуты на затылке шарфом. Уж не нашиты ли у нее колокольчики на подол яркой юбки с набивным рисунком? Уж не позванивает ли на запястье браслет с амулетами? И что за слабое, едва заметное сияние окутывает ее, словно дымка, что повисает жарким днем над Парижем?

Наш магазин был закрыт по случаю похорон. Еще мгновение — и она бы ушла. А мне так хотелось, чтобы она осталась, вот я и сделала нечто такое, чего делать не полагалось, нечто такое, о чем, по мнению мамы, я уже и думать забыла, нечто такое, чего давным-давно не делала. Я скрестила пальцы у нее за спиной и быстро начертала в воздухе некий символ.

Ветерок, приносящий аромат ванили, и тертого мускатного ореха, и темных, поджаренных на слабом огне бобов какао.

Это не колдовство. Правда-правда. Это просто такой фокус, я в это просто играю. Настоящего колдовства вообще не существует — и все же моя магия действует. Иногда.

«Ты меня слышишь?» — спросила я. Не вслух, конечно, а как бы про себя, тенью своего настоящего голоса, которая звучит почти неслышно, точно легкое шуршание падающих листьев.

И она меня услышала! Я точно знаю. Она вздрогнула, обернулась и застыла, а я заставила нашу голубую дверь светиться, совсем чуть-чуть, и она засияла, как чистое осеннее небо. Я еще немного позабылась с дверью — как с зеркальцем, когда пускаешь кому-то в лицо солнечные зайчики.

Запах древесного дыма над большой миской; рисунок, решительно нанесенный кремом, брызги сахарного сиропа. Горьковатый аромат апельсина, это твое любимое, семидесятипроцентный черный шоколад, а внутри толстенькие ломтики апельсинов из Севильи. Попробуй. Вкуси. Испытай наслаждение.

Она обернулась. Я так и знала! Казалось, она была несколько удивлена, когда увидела меня, но все-таки улыбнулась. Я разглядывала ее лицо — голубые глаза, широкая улыбка, несколько веснушек на переносице; она понравилась мне сразу, как когда-то сразу понравился и Ру, в первый же день нашего с ним знакомства...

И тут она спросила меня, кто умер.

Я ничего не могла с собой поделать. Возможно, из-за этих ее тупель, возможно, потому, что знала: мама стоит за дверью. Так или иначе, эти слова у меня просто вырвались, это получилось, как и с тем солнечным светом на створках двери, как с запахом дыма.

И как только я сказала: «Вианн Роше» — наверное, слишком громко сказала, — из-за двери появилась мама. В своем черном пальто, с Розетт на руках и с тем выражением на лице,

какое бывает у нее, когда я плохо себя веду или когда с Розетт в очередной раз что-то случается.

— Анни!

Дама в красных туфельках посмотрела сперва на нее, потом на меня, потом снова на нее.

— Мадам... Роше?

Но мама уже взяла себя в руки.

— Это моя... девичья фамилия, — сказала она. — Теперь я мадам Шарбонно. Янна Шарбонно. — И она снова бросила на меня тот свой взгляд. — Боюсь, моя дочь не слишком удачно пошутила, — объяснила она даме в красных туфельках. — Надеюсь, она не слишком вам докучала своими шутками?

Дама рассмеялась; казалось, она вся превратилась в смех, улыбались даже ее красные туфельки.

— Ничуть она мне не докучала, — сказала она. — Я просто рассматривала ваш замечательный магазин.

— Не мой, — сказала мама. — Я здесь просто работаю.

Дама опять рассмеялась.

— Мне бы тоже хотелось здесь поработать! Между прочим, я действительно работу ищу, вот и застряла у вашей витрины, пожирая взглядом выставленные там шоколадки.

После этих слов мама немного расслабилась, поставила Розетт на землю и повернулась, чтобы запереть дверь. Розетт с серьезным видом разглядывала даму в красных туфлях. Та ей улыбнулась, но Розетт на улыбку не ответила. Она редко улыбается незнакомым людям. И мне почему-то было даже приятно, что Розетт ей не улыбнулась. Это ведь я ее нашла, думала я. Я ее здесь задержала. И пока что, пусть ненадолго, она принадлежит только мне одной.

— Вы ищете работу? — переспросила мама.

Дама кивнула.

— Моя приятельница, с которой мы вместе снимали квартиру, в прошлом месяце съехала, а я работаю официанткой и просто не могу в одиночку за такую квартиру платить. Меня

зовут Зози, Зози де л'Альба, и, между прочим, шоколад я просто обожаю!

Ну разве она может кому-то не понравиться, думала я. У нее ведь такие голубые глаза, а улыбка — точно ломоть спелого, сахарного арбуза. Правда, улыбка эта несколько увяла, когда она посмотрела на объявление, висевшее на двери.

— Мне очень жаль, — сказала она. — Я, кажется, совершенно не вовремя. Надеюсь, это не кто-то из ваших родных?

Мама снова подхватила Розетт на руки.

— Это мадам Пуссен. Она здесь жила. И она наверняка сказала бы, что этот магазин содержит она, хотя, если честно, проку от нее было чуть.

Я вспомнила мадам Пуссен, ее желтоватое, цвета алтея, лицо, ее передники в голубую клетку. Больше всего она любила розовые сливочные помадки и ела их куда чаще, чем следовало бы, хотя мама никогда ей ни слова на этот счет не сказала.

По словам мамы, на нее обрушился удар, что звучит, по-моему, очень даже неплохо. Удача ведь тоже обрушивается внезапно. Накрывает — как ласково накрывают одеялом спящего ребенка. Но потом до меня дошло, что больше мы мадам Пуссен никогда не увидим. Никогда. И я ощутила какое-то странное головокружение, словно у меня под ногами вдруг разверзлась бездна.

— Неправда, был от нее прок, был! — возразила я маме и заплакала. И тут же почувствовала ее руку у себя на плечах, и запах лаванды, и шуршание дорогого шелка, и она что-то тихо шепнула мне на ухо — какое-то заклинание, подумала я и слегка удивилась этому, словно вновь вернувшись в те дни, в Ланскне... Но стоило мне поднять глаза, и я поняла, что это вовсе не мама, а Зози. Это ее длинные волосы касались моего лица, это ее красное пальто так и сияло на солнце.

А у нее за спиной стояла мама в своем траурном пальто, и глаза ее были темны, как ночь, так темны, что по ним ничего нельзя было прочесть. Она сделала шаг — по-прежнему держа

на руках Розетт, — и я поняла, что, если я так и буду стоять, она обнимет нас обеих, и тогда уж я точно не смогу перестать плакать, хотя я, наверное, толком и не сумела бы объяснить ей, почему плачу. Нет, ни за что, только не сейчас, не перед этой дамой в леденцовых туфельках!

И я, резко повернувшись, бросилась бежать куда-то по пустынному переулку, сразу почувствовав себя свободной, как ветер. Мне нравится бежать: можно делать огромные прыжки, и, если раскинуть руки, чувствуешь себя воздушным змеем; можно пробовать ветер на вкус; можно попытаться обогнать мчащееся впереди тебя солнце; и порой мне это даже почти удается — обогнать и этот ветер, и это солнце, и собственную тень, что гонится за мной по пятам.

А знаете, у моей тени ведь имя есть. Пантуфль. У меня когда-то был любимый кролик, которого звали Пантуфль, так говорит мама, но сама я плохо помню, живой это был кролик или просто игрушка. «Твой воображаемый дружок» — так она порой называет Пантуфля, но я-то почти уверена, что он действительно всегда рядом — мягкой серой тенью следует за мной по пятам или, свернувшись в клубок, спит ночью в моей постели. Мне и теперь приятно думать, что он стережет мой сон или бежит вместе со мной, пытаясь обогнать ветер. Иногда я чувствую его присутствие. Иногда я по-прежнему его вижу — хотя мама утверждает, что это всего лишь плод моего воображения, и не любит, когда я говорю о нем даже в шутку.

А сама мама теперь почти никогда не шутит и не смеется так, как смеялась раньше. Возможно, она по-прежнему сильно тревожится из-за Розетт. Из-за меня-то она точно тревожится, это я знаю. Она говорит, что я чересчур легкомысленно отношусь к жизни. А это неправильно.

Интересно, а Зози серьезно относится к жизни? Да ладно! Не может этого быть, спорить готова. Разве можно серьезно относиться к жизни в таких туфлях? Наверняка она мне именно поэтому так и понравилась. Из-за этих красных

туфельк, из-за того, как она заглядывала к нам в окно, из-за того, что она, несомненно, может видеть Пантуфля — не просто какую-то тень, а самого Пантуфля, следующего за мной по пятам.

Глава 4

31 октября, среда

В общем, приятно сознавать, что с детьми я обращаться умею. Впрочем, как и с их родителями; это часть моих магических знаний, моих чар. Видите ли, без умения применить чары в бизнесе далеко не уедешь, тем более в таком, как мой, когда окончательная цель — это нечто интимное, куда более важное, чем просто некая собственность; когда абсолютно необходимо вплотную соприкоснуться с той жизнью, которую собираешься взять себе.

Не то чтобы меня так уж сразу заинтересовала жизнь этой женщины. Во всяком случае, в первый момент нисколько. Хотя должна признаться, что я почти сразу была заинтригована. И разумеется, меня заинтриговала не усопшая. И даже не ее магазин — довольно хорошенький, но уж больно крошечный, слишком ничтожный для человека моих амбиций. А вот женщина эта действительно меня заинтриговала, как и ее дочка...

Вы верите в любовь с первого взгляда?

Думаю, нет. Я тоже. И все-таки...

Это сияние всех цветов радуги, которое я заметила за приоткрытой дверью. Этот мучительный намек на нечто такое, что ты едва успела одним глазком увидеть, но так и не смогла попробовать на вкус. И эти вздохи ветра над крыльцом. Все это пробудило сперва мое любопытство, а затем — и мою страсть к стяжательству.

Вы же понимаете, я не воровка. Прежде всего и главным образом я — коллекционер. Я, например, с восьми лет соби-

раю магические амулеты для своего браслета, но теперь все больше увлекаюсь коллекционированием личностей: имен людей, их секретов, их историй, их жизней. О, разумеется, отчасти из соображений собственной выгоды. Но более всего меня увлекает сам процесс охоты, поиска, напряженного преследования добычи, соблазнения жертвы и финальная схватка с нею. Тот миг, когда пиньята наконец разлетается вдребезги...

Вот что я люблю больше всего на свете.

— Дети, — улыбнулась я.

Янна вздохнула.

— Они так быстро растут! Глазом не успеешь моргнуть, а их уже и нет рядом. — Девочка все бежала куда-то по переулку, и Янна крикнула ей: — Только не убегай слишком далеко!

— Никуда она не денется, — успокоила я.

Она, пожалуй, кажется более покорной, чем ее дочь. Но они очень похожи. У Янны черные волосы до плеч, прямые брови взлет, глаза цвета горького шоколада. И такой же, как у Анни, алый, упрямый, великодушный рот с чуточку приподнятыми уголками губ. И такой же невнятно-иностранный, экзотический облик, хотя, если не считать того первого впечатления, которое произвели на меня яркие цвета за полукрытой дверью, я так и не сумела разглядеть в ней чего-нибудь загадочного. С виду в этой женщине нет ровным счетом ничего особенного: одежда, довольно поношенная, явно выписана по каталогу «Ла Редут», простой коричневый берет чуть сдвинут набок, туфли самые скромные.

Многое можно сказать о человеке, всего лишь взглянув на его туфли. Свои она наверняка тщательнейшим образом выбирала именно для того, чтобы ни в коем случае не выглядеть экстравагантно: черные, с округлым мыском, безжалостно обычные, вроде тех, которые ее дочь носит в школу. А в целом — каблук немного низковаты, одежда чересчур мрачных оттенков, никаких украшений, кроме простого зо-

лотого кольца на пальце, и совсем чуть-чуть макияжа, чтобы все же выглядеть прилично.

Девочке, которую она держала на руках, было от силы годика три. Такие же настороженные, как у матери, глаза, но волосы цвета только что разрезанной тыквы, а крошечная мордашка размером с гусиное яйцо вся усыпана абрикосовыми веснушками. Ничем не примечательное маленькое семейство — по крайней мере, с первого взгляда; и все же я не могла отделаться от мысли, что есть в них нечто такое, чего я пока как следует разглядеть не в силах, некий слабый свет, вроде того, что исходит и от меня самой...

Во всяком случае, подумала я, это явно стоит включить в коллекцию.

Женщина посмотрела на часы и крикнула:

— Анни!

В дальнем конце улицы Анни только рукой махнула — то ли от избытка чувств, то из чистого непослушания. Я заметила, что над ней вьется нечто вроде сияющей дымки, синей, как крыло бабочки, что лишь подтвердило мою уверенность в том, что им есть что скрывать. И в малышке тоже явственно чувствовался этот потаенный свет, а уж что касается матери...

— Вы замужем? — спросила я.

— Вдова, — сказала она. — Уже три года. Я после этого сюда и переехала.

— Вот как, — пробормотала я.

Вряд ли это правда. Чтобы казаться вдовой, мало черного пальто и обручального кольца; Янна Шарбонно (если это, конечно, ее настоящее имя) вдовой мне отнюдь не кажется. Других она, возможно, и сумела бы обмануть, но я-то вижу значительно глубже.

Да и зачем ей подобная ложь? Это же Париж, я вас умоляю! Здесь никого не отдадут под суд за отсутствие брачного свидетельства. Интересно, какую маленькую тайну она скрывает? И стоит ли моих усилий раскрытие этой тайны?

— Нелегко, должно быть, тут магазин держать? — спросила я.

Монмартр ведь похож на странный маленький остров из камня — здесь особые туристы, особые художники, особые, совершенно средневековые, сточные канавы, особые нищие. Здесь даже выступления стриптизеров проходят по-особому, прямо на улице, под липами, а на симпатичных улочках по ночам вполне могут и бандиты напасть.

Янна улыбнулась.

— Здесь вовсе не так плохо.

— Правда? — удивилась я. — Но ведь теперь, когда мадам Пуссен умерла...

Она отвела глаза.

— Хозяин этого дома — наш друг. Он не выбросит нас на улицу.

Мне показалось, что она слегка покраснела.

— Неужели дела здесь и впрямь идут неплохо?

— Могло быть и хуже.

Ну да, туристы всегда готовы купить что-нибудь, даже если цена немислимо завышена.

— Но в общем, состояния мы здесь, разумеется, никогда не сколотим...

Что ж, я так и думала. Даже и стараться не стоит. Она, конечно, храбрится, но я-то вижу и ее дешевую юбку, и обтрепавшиеся обшлага на пока еще очень приличном пальтишке девочки, и выцветшую, неудобочитаемую деревянную вывеску над входом в лавку.

И все же было нечто странно привлекательное в этой витрине, загроможденной коробками и жестянками и украшенной по случаю Хеллоуина ведьмами и чертями из темного шоколада и цветной соломки, пухлыми тыквами из марципана и бисквитными черепами, обмазанными кленовым сиропом. Пока что я лишь это сумела разглядеть в щель между полузакрытыми ставнями.

И еще меня манил запах — чуть горьковатый запах яблок и жженого сахара, ванили и рома, кардамона и шоколада. Не

могу сказать, что я так уж люблю шоколад, но все же от этого запаха у меня просто слюнки потекли.

Попробуй. Испытай меня на вкус.

Едва заметно шевельнув пальцами, я начертала в воздухе символ Дымящегося Зеркала — которое также называют Глазом Черного Тескатлипоки¹, — и витрина на какую-то долю секунды ярко осветилась.

Моей собеседнице явно стало не по себе — она, видимо, тоже заметила эту вспышку, а малышка у нее на руках тихонько засмеялась, точнее, мякнула и потянулась к витрине ручонкой...

Интересно, подумала я. И спросила:

— А что, вы все эти шоколадки сами делаете?

— Когда-то все сама делала. Теперь — нет.

— Нелегко вам, наверное, приходится.

— Ничего, я справляюсь.

Хм... очень интересно.

Но действительно ли она справляется? И будет ли справляться теперь, после смерти старой хозяйки магазина? Что-то я сомневаюсь. Нет, судя по ее виду, она с чем угодно способна справиться — такой у нее упрямый рот и спокойный взгляд. И все же есть в ней некая слабость. Некая слабость... А впрочем, может, как раз сила?

¹ Тескатлипока («дымящееся зеркало») — в мифологии индейцев Центральной Америки божество, вобравшее в себя черты многих древнейших богов, в том числе бога грозы и ветра Хуракана. Он выступает в качестве бога ночи, покровителя разбойников и колдунов, олицетворяет зиму, север и ночное небо. Его двойник — ягуар. Тескатлипока считается как благодетельным, так и зловредным божеством: он и творец мира, и его разрушитель; он судья, видящий все в ночи, и мститель за все злое, вездесущий и беспощадный. Исходно он был, видимо, хтоническим богом подземных сил и вулканов. Изображается с черным лицом (в качестве бога ночи), на которое иногда наносятся желтые поперечные полосы или пятна (как на шкуре ягуара). Его символ — зеркало с завитком дыма, в котором он может видеть все на свете. Иная его ипостась — красный Тескатлипока, слившийся с ним в процессе синкретизации с Шипе-Тотек, ацтекским божеством весенней растительности и посевов.

Нужно быть очень сильной, чтобы жить вот так, в одиночку поднимая в Париже двоих детей, все время и силы отдавая бизнесу, доходов от которого в лучшем случае едва хватает, чтобы заплатить за аренду помещения. Нет, ее слабость заключается совсем в другом. Это, во-первых, младшая дочка. Она за нее очень боится. Она за них обеих боится и цепляется за своих девочек так, словно их ветром унести может.

Я знаю, что вы сейчас подумали. Да только мне дела нет до ваших мыслей.

Что ж, можете считать меня любопытной, если хотите. В конце концов, я использую подобные тайны в личных целях. И не только тайны, но и мелкие предательства, расспросы, расследования. Не брезгую я и воровством, и крупными кражами; мне на руку всевозможные обманы и лукавства, скрытые пропасти и тихие омуты, плащи и кинжалы, потайные дверцы и запретные свидания, подглядывание из-за угла и в замочную скважину, различные подпольные операции, незаконный захват собственности, сбор различной информации и так далее, и тому подобное.

Неужели это так плохо?

Полагаю, что да.

Но Янна Шарбонно (или Вианн Роше) явно что-то скрывает от мира. Я прямо-таки чую запах ее многочисленных тайн, похожий на острый запах тех шутих, которыми обычно обвешана праздничная пиньята. Пущенный умелой рукой камень способен все их взорвать, вот тогда пиньята и покажет свое нутро, тогда мы и увидим, может ли кто-то вроде меня воспользоваться ее тайнами.

Мне просто очень интересно, вот и все: любопытство — обычное свойство тех счастливых, кому довелось родиться под знаком Самого Первого Ягуара.

И потом, она ведь явно лжет, верно? А если и есть на свете нечто такое, что мы, Ягуары, ненавидим больше, чем слабость, так это лжецы.

Глава 5

1 ноября, четверг

День Всех Святых

Сегодня Анук опять какая-то беспокойная. Возможно, из-за вчерашних похорон, а может, на нее просто этот ветер так действует. Такое с ней порой бывает, и она, готовая в любую минуту расплакаться, мечется, как дикая лошадка, становясь под воздействием этого ветра упрямой, безрассудной и чужой. Моя маленькая незнакомка.

Знаете, я часто ее так называла, когда она была еще совсем маленькой и на свете нас было только двое. «Маленькая незнакомка» — словно я у кого-то ее позаимствовала и когда-нибудь этот кто-то придет и заберет ее у меня. В ней всегда это было — и непохожесть на других, и особенный взгляд, когда кажется, что ее глаза видят все гораздо дальше и глубже, а мысли и вовсе бродят где-то за пределами нашего мира.

«Одаренная девочка, — говорит ее новая учительница. — Необычайно развитое воображение и удивительно обширный для ее возраста запас слов!» Но, говоря это, учительница смотрит так, словно богатое воображение подозрительно уже само по себе, словно это признак чего-то дурного.

Что ж, моя вина. Теперь-то я это понимаю. А тогда мне казалось совершенно естественным воспитывать ее согласно представлениям моей матери. Это обеспечивало определенную перспективу, позволяло иметь некие собственные традиции, как бы заключало нас в магический круг, внутрь которого остальной мир проникнуть не мог. Но если он не мог туда проникнуть, то и мы не могли выйти оттуда. Мы оказались пойманными в ловушку, заключенными в некий уютный кокон, который, впрочем, сами же и создали, и, став вечными чужаками, существовали как бы отдельно от всех.

Во всяком случае, так было еще четыре года назад.

Но с тех пор мы живем во лжи, уютной и удобной.

Пожалуйста, не смотрите так удивленно. Покажите мне любую мать, и я докажу вам, что она — лгунья. Мы рассказываем своим детям не о том, каков окружающий мир, а о том, каким ему следовало бы быть. Говорим, что там нет ни чудовищ, ни призраков, что если поступать хорошо, то и люди будут делать тебе добро, что Матерь Божья всегда будет рядом и защитит тебя. И разумеется, мы никогда не называем это ложью — ведь у нас самые лучшие намерения, мы хотим своим детям только добра, — но тем не менее это самая настоящая ложь.

После того, что случилось в деревушке Ле-Лавёз, выбора у меня не осталось. Любая мать поступила бы точно так же.

— Что же это было такое? — все спрашивала у меня Анук. — Скажи, мам, неужели это из-за нас?

— Нет, это просто несчастный случай.

— Но тот ветер... ты же говорила...

— Ложись-ка лучше спать.

— А мы не могли бы немного поколдовать и как-нибудь это исправить?

— Нет, не могли бы. Да это и не колдовство, а просто детские забавы. Ни магии, ни колдовства не существует, Нану.

Она очень серьезно посмотрела на меня и сказала:

— Нет, существует. Так и Пантуфль говорит.

— Девочка моя дорогая, так ведь и самого Пантуфля тоже на самом деле не существует.

Нелегко это — быть дочерью ведьмы. Но быть матерью ведьмы еще труднее. Так что после происшествия в Ле-Лавёз я оказалась перед выбором. Если я скажу своим детям правду, то и их тоже приговорю к той жизни, какую всегда вела сама, — к вечным скитаниям, к полному отсутствию стабильности, покоя и безопасности, к жизни на чемоданах, к тому, что им всегда придется бежать наперегонки с этим ветром...

Если я солгу — то мы будем как все.

И я лгала. Я лгала Анук. Я говорила ей, что все это выдумки. Что нет никакой магии; что колдовство бывает только в сказ-

ках. Что нет таких потусторонних сил, которые можно было вызвать условным стуком и проверить, на что они способны. Что не существует ни хранителей домашнего очага, ни ведьм, ни магических рун, ни заклятий, ни могущественных тотемов, ни волшебных кругов на песке. Все необъяснимое стало у нас называться Случайностью или Несчастливым Случаем — да, с большой буквы! — и неожиданная удача, и тайный зов, и дар богов. А также Пантуфль — низведенный до положения «воображаемого друга», на которого теперь совсем не обращают внимания, хотя порой даже я все еще вижу его, пусть всего лишь краем глаза.

Но теперь, увидев его, я отворачиваюсь. И закрываю глаза, пока не исчезнут все цвета, все краски.

После Ле-Лавёз я убрала все те вещи с глаз долой, понимая, что Анук, возможно, будет возмущена — и даже на некоторое время меня возненавидит, возможно, — но все же надеялась, что когда-нибудь она поймет.

— И тебе ведь придется стать взрослой, Анук, и научиться отличать реальное от вымышленного.

— Зачем?

— Так лучше, — говорила я ей. — Подобные вещи, Анук... они как бы отделяют нас от других людей. И мы становимся не такими, как все. Неужели тебе нравится быть не такой, как все? Разве тебе не хочется жить вместе со всеми, хотя бы на этот раз? Завести друзей и...

— Но ведь у меня были друзья! Поль и Framбуаза...

— Мы не могли там оставаться. После того, что случилось, никак не могли.

— И еще Зезет и Бланш...

— Это вечные странники, Нану. Речной народ. Ты же не можешь всю жизнь прожить на таком суденышке — во всяком случае, если действительно хочешь ходить в школу...

— И Пантуфль...

— Воображаемые друзья не считаются, Нану.

— И еще Ру, мама. Ведь Ру был нашим другом.

Я промолчала.

— Ну почему, почему мы не могли остаться с Ру? Почему ты не сообщила ему, где мы?

Я вздохнула:

— Все это очень сложно, Нану.

— Я по нему скучаю.

— Я знаю.

Ну, для Ру вообще все очень просто. Делай что хочешь. Бери что хочешь. Держи путь туда, куда влечет тебя ветер. Для Ру этого вполне достаточно. Ему этого довольно для счастья. Но я-то знаю, что все иметь невозможно. Я пробовала идти этим путем. И знаю, куда он ведет. И как потом бывает тяжело, ох как тяжело, Нану.

Ру сказал бы: «Ты слишком много тревожишься». Ру с его вызывающе рыжими волосами, с его скупой улыбкой на его обожаемой речной посудине под вечно движущимися звездами. «Ты слишком много тревожишься». Возможно, он прав; несмотря ни на что, я действительно слишком много тревожусь. Меня тревожит то, что у Анук в новой школе нет друзей. И то, что Розетт, такая живая и умненькая, до сих пор не говорит, хотя ей уже почти четыре года, словно она — жертва какого-то злобного заклятия, некая принцесса, онемевшая от страха перед тем, что могут поведать ее уста.

Как объяснить это Ру, который ничего не боится, никем не дорожит и ни за кого не тревожится? Быть матерью — значит жить в вечном страхе — в страхе перед смертью, болезнью, утратой, несчастным случаем, опасаясь любого чужака или того Черного Человека, страшась даже тех повседневных мелочей, которые каким-то образом ухитряются сильнее всего уязвить нас, — раздраженного взгляда, сердито брошенного слова, нерассказанной на ночь сказки, забытого поцелуя, того ужасного момента, когда для дочери мать перестает быть центром мира и становится просто еще одним спутником, вращающимся вокруг некоего солнца, менее важного, чем ее собственное.

Со мной этого еще не произошло, по крайней мере пока. Но я замечаю это в других детях; я вижу это в девочках-подростках с надутыми губами, мобильными телефонами и взглядом, исполненным презрения ко всему миру. Я разочаровала Анука; я это понимаю. Я не такая мать, какую она хотела бы. И в свои одиннадцать лет она, даже будучи такой умницей, все же слишком юна, чтобы понять, чем я пожертвовала и почему.

«Ты слишком много тревожишься».

Ах, если бы все было так просто!

«Но ведь это действительно просто», — звучит у меня в ушах его голос.

Когда-то, возможно, и я так думала, Ру. Но не теперь.

Интересно, неужели сам он ничуть не изменился? Ну а меня он, наверное, и вовсе не узнает. Я иногда получаю от него весточки — он раздобыл мой адрес у Бланш и Зезетт, — но очень короткие и только на Рождество и в день рождения Анука. Я пишу ему на адрес почтового отделения в Ланскне, зная, что он иногда проплывает мимо этого городка. О Розетт я ни в одном из своих писем не сказала ни слова. Как и о нашем домовладельце Тьерри, который проявил по отношению к нам столько доброты, великодушия и терпения, что у меня просто не хватает слов.

Тьерри Ле Трессе пятьдесят один год, он разведен, у него есть взрослый сын, он прилежно ходит в церковь и надежен, как скала.

Не смейтесь. Мне он очень нравится.

Интересно, а что он находит во мне?

Я теперь, глядя в зеркало, не вижу там себя; так, ничего не говорящее лицо женщины за тридцать. Самая обыкновенная женщина, не наделенная ни особой красотой, ни особым характером. Такая же, как все прочие; в сущности, именно такой я и хотела стать, но почему-то сегодня мысль об этом приводит меня в полное уныние. Возможно, на меня так подействовали похороны, и та печальная полутемная часовня, украшенная цветами, оставшимися от предыдущего покой-

ника, и опустевшая комната наверху, и абсурдно громадный венок от Тьерри, и равнодушный священник с насморчным носом, и рев труб из потрескивающих усилителей, исполнявших «Нимрода» Элгара¹.

Смерть банальна, как утверждала моя мать незадолго до своей кончины в результате несчастного случая на оживленной улице в центре Нью-Йорка. А вот жизнь удивительна. И мы сами тоже удивительны, необыкновенны. Принять необычное — значит восславить жизнь, уверяла она.

Что ж, мама. Теперь все переменялось. В старые времена (не такие уж и старые, напоминаю я себе) вчера был бы веселый праздник. Ведь вчера был Хеллоуин, канун Дня Всех Святых, день магии и колдовства, день тайн и загадок. В этот день принято развешивать вокруг дома красные шелковые саше, чтобы отпугнуть зло, а на пороге оставлять рассыпанную соль, медовые пряники и вино; это день тыкв, яблок, шутих, аромата сосновой смолы и древесного дыма, ибо в этот день, как говорится, осень поворачивает на зиму. В этот день следовало бы петь и танцевать вокруг костров, и Анук в невероятном гриме и черных перьях должна была бы летать от дома к дому со своею свитой — Пантуфлем и Розетт, нарядной, важной, с фонариком в руках и со своим тотемом, у которого такая же рыжая шерстка, как ее волосы.

Хватит. Больно вспоминать те дни. Но покоя-то по-прежнему нет. Моя мать понимала причину этого — она двадцать лет убегала от Черного Человека; вот и я — хоть мне на какое-то время и показалось, что я его победила и отвоевала свое место в жизни, — тоже вскоре поняла: моя победа была всего лишь иллюзией. У Черного Человека множество лиц, множество последователей, и он отнюдь не всегда облачен в сутану священника.

¹ Элгар Эдуард (1857—1934) — английский композитор, деятель движения за возрождение традиций английской народной и старинной профессиональной музыки.

Раньше я всегда считала, что боюсь их Бога. И прошло немало лет, прежде чем я поняла, что на самом деле я боюсь их доброты. Их благочестия. Их доброжелательной участливости. Их жалости. Все эти четыре года я чувствовала: они идут по нашему следу, вынюхивая, выискивая, подбираясь к нам все ближе. А уж после Ле-Лавёз они и вовсе почти нас настигли. У них такие добрые намерения, у этих Благочестивых: еще бы, они ведь желают моим прелестным детям только самого лучшего. И не намерены отступить, пока не разорвут наши узы, пока и самих нас на куски не разорвут!

Возможно, именно поэтому я никогда полностью Тьерри и не доверяла. Доброму, надежному, солидному Тьерри, моему хорошему другу, с его неторопливой улыбкой, бодрым, веселым голосом и трогательной верой в то, что деньги — панацея от любой беды. О да, он готов нам помочь — он уже и так очень помог нам в этом году. Стоит мне сказать слово, и он снова поможет. И тогда все наши беды, возможно, останутся позади. Странно, почему я колеблюсь? И почему мне так трудно кому-то довериться? Признать наконец, что мне необходима помощь?

Но сейчас, в Хеллоуин, когда уже близится полночь и вокруг стоит тишина, мысли мои куда-то вдруг уплывают, и я, как это часто бывает в подобные моменты, начинаю думать о матери, о картах Таро и о Благочестивых. Анук и Розетт уже спят. Ветер внезапно улегся. Внизу, под нами, светящейся дымкой мерцает Париж. А темные улочки Монмартрского холма плывут над ним, точно иной, волшебный город, созданный из дыма и звездного света. Анук считает, что я давно сожгла гадальные карты: я не раскладывала их больше трех лет. Однако они по-прежнему у меня; это карты моей матери, они насквозь пропахли шоколадом и сильно залоснились.

Заветная шкатулка спрятана у меня под кроватью. От нее исходит аромат напрасно потраченных лет и сезона туманов. Я открываю ее — и вот они, карты, их старинные лики вырезаны из дерева несколько веков назад в городе Марселе.

Смерть, Влюбленные, Башня, Шут, Волшебник, Повешенный, Перемена.

Это же не настоящее гадание, уговариваю я себя. И вытаскиваю их по одной, просто так, наугад, бесцельно, ничуть не задумываясь о последствиях. И все же не могу избавиться от мысли, что карты пытаются что-то сказать мне, что в них заключено некое послание.

И я их убираю. Зря только доставала. В былые времена я бы, конечно, отогнала ночных демонов с помощью заклятия — кыш, кыш, пошли прочь! — и исцеляющего напитка, а потом воскурила бы благовония и рассыпала на пороге соль. Но теперь я приобщилась к цивилизации, из целебных магических отваров признаю только ромашковый чай. Он помогает мне уснуть — хотя и не сразу.

Но всю эту ночь — впервые за много месяцев — мне снятся Благочестивые. Они выслеживают нас, они тайком крадутся по переулкам и задним дворам Монмартра, и я даже во сне жалею, что не бросила на крыльцо щепотку соли, не повесила над дверями мешочек с волшебными травами, оставила свой дом без защиты, и теперь ночь может незаметно войти к нам, привлеченная запахом шоколада.

Часть вторая

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ЯГУАР

Глава 1

5 ноября, понедельник

Я, как всегда, поехала в школу на автобусе. Вы бы, наверное, и не догадались, что тут школа, если б не вывеска над входом. Все остальное скрыто высокими стенами, за которыми вполне могли бы находиться несколько офисов, или частный парк, или еще что-нибудь, но только не школа. Лицей Жюль Ренара не так уж и велик по парижским меркам, но для меня он — как целый город.

В Ланскне у нас во всей школе было человек сорок. А здесь восемьсот мальчишек и девчонок со всеми их шкафчиками для обуви, запасными комплектами учебников, ранцами, мобильниками, флаконами с дезодорантом, тетрадками, тюбиками гигиенической помады, компьютерными играми, секретами, сплетнями и враньем. У меня здесь только одна подруга — ну, почти что подруга — Сюзанна Прюдомм; она живет на улице Ганнерон, на той стороне, где кладбище, и иногда заходит к нам в *chocolaterie*.

У Сюзанны — ей нравится, когда ее называют Сюзи, — рыжие волосы, которые она ненавидит, и круглое веснушчатое лицо, и она все время собирается сесть на диету. А мне, пожалуй, ее волосы даже нравятся: они напоминают о моем друге Ру, — и, по-моему, она совсем не толстая, но отчего-то все время жалуется и на свои волосы, и на толщину. Какое-то время мы с ней очень хорошо ладили, но теперь она все чаще дуется на меня; а то вдруг ни с того ни с сего начнет говорить гадости или заявит, что больше не будет со мной разговаривать, пока я не сделаю так, как она хочет.

Сегодня она опять решила со мной не разговаривать. Это потому, что вчера я не согласилась пойти в кино. Но ведь билет в кино и так стоит довольно дорого, а там еще нужно покупать попкорн и кока-колу — ведь если я ничего не куплю, Сюзанна сразу заметит и в школе начнет отпускать всякие шуточки насчет того, что у меня вечно нет денег; и потом, там наверняка будет Шанталь, а Сюзанна сразу преобразается, если рядом Шанталь.

Шанталь — теперь ее лучшая подруга. У Шанталь всегда есть деньги на кино, и уж у нее-то волосы всегда лежат идеально. Она носит бриллиантовый крестик от Тиффани; когда учитель в школе потребовал, чтобы она сняла этот крестик, ее отец написал в редакцию газеты письмо: дескать, это позор, что его дочь тиранят за то, что она носит символ своей католической веры, тогда как девочкам-мусульманкам по-прежнему разрешают ходить в школу в платках. Это вызвало настоящий скандал; а потом и крестики, и головные платки носить в школе запретили. Только Шанталь свой крестик носит по-прежнему. Я сама видела его на ней в физкультурной раздевалке. А преподаватели делают вид, что ничего не замечают. Вот какое воздействие оказывает на них отец Шанталь.

«Просто не обращай на них внимания, — говорит мама. — Попробуй подружиться с кем-нибудь еще».

Можно подумать, я не пробовала! Но стоит мне завести себе новую подружку, и Сюзи тут же находит способ, чтобы ее от меня отвалить. Так уже не раз было. И главное, я никак не могу ткнуть в нее пальцем и сказать: «Это ты виновата». Она делает это исподтишка, но недоброжелательность сразу так и повисает в воздухе, точно запах духов. И те, кого ты считала своими друзьями, начинают тебя избегать и общаются только с нею; глазом моргнуть не успеешь, как они уже не твои, а ее друзья, а ты опять осталась одна.

В общем, весь сегодняшний день Сюзи разговаривать со мной не желала, на всех уроках садилась с Шанталей и на вся-

кий случай так клала свой портфель, чтобы я не могла сесть с нею рядом, и стоило мне взглянуть в их сторону, как они, по-моему, начинали надо мной смеяться.

Да пусть смеются. Очень мне надо становиться такой же!

А потом я заметила: они уселись близко-близко, голова к голове, и на меня даже не смотрят, но уже по одному тому, как они на меня не смотрят, было ясно, что они опять надо мной смеются. Но почему? Что во мне такого смешного? Раньше-то я, по крайней мере, знала, чем отличаюсь от других. А теперь?..

Может, дело в моих волосах? Или в том, как я одета? Или это потому, что мы никогда ничего не покупаем в галерее Лафайет? И не ездим кататься на лыжах в Валь-д'Изер, и не проводим лето в Каннах? Может, на мне какой-то ярлык, как на дешевых «трениках», который словно предупреждает их всех, что я второго сорта?

Мама очень старалась мне помочь. Ничего такого необычного в моей внешности нет, и по моему виду нельзя предположить, что у нас совсем нет денег. Одежда у меня такая же, как и у всех. И школьная сумка тоже. Я смотрю те же фильмы, что и все, читаю те же книги, слушаю ту же музыку. Я должна была бы им подходить. И все-таки отчего-то не подхожу.

Все дело во мне. Я просто им не соответствую. Я вся какая-то другая — неправильной формы, не того цвета. И книги мне нравятся неправильные. И я тайком от них смотрю неправильные фильмы. Да, я другая, нравится им это или нет, и не понимаю, с какой стати мне притворяться и под них подлаживаться!

Когда я сегодня утром вошла в класс, все играли теннисным мячом. Сюзи кидала его Шанталь, та — Люси, Люси — Сандрин, а затем мячик летел через весь класс к Софи. Никто ничего не сказал, когда я вошла. Они просто продолжали играть, но я заметила, что никто ни разу не кинул мяч мне, а когда я громко крикнула: «Давай сюда!» — все сделали вид, что не слышат. Выглядело это так, словно играют уже совсем в другую игру: никто ничего не говорил, но теперь, похоже,

главным стало то, чтобы мяч ни в коем случае не попал ко мне в руки; они стали кричать: «Анни водит, Анни водит», так что я постоянно вскакивала и крутилась на месте, широко расставив руки и пытаясь поймать мячик.

Я понимаю, что все это глупости. Что это всего лишь игра. Только в школе у меня каждый день так. У нас в классе двадцать три человека, и я всегда «третий лишний»: мне приходится сидеть за партой в одиночестве, потому что для меня нет пары; мне приходится делить компьютер с двумя другими учениками (обычно с Шанталь и Сюзи), а не с одним, как всем остальным; и обеденный перерыв я чаще всего провожу в библиотеке или одна, сидя на скамейке, а все остальные стайками ходят вокруг, смеются, болтают, играют в разные игры. Я бы не возражала, если б хоть иногда «водил» кто-нибудь другой. Но они никогда не «водят». Всегда только я.

И это не потому, что я какая-то там особо стеснительная. Нет, я люблю людей. И умею с ними ладить. И я люблю поболтать, поиграть на площадке в бейсбол или в дартс; я совсем не такая, как Клод, который так застенчив, что и слова не может вымолвить, даже заикаться начинает, стоит учителю задать ему какой-нибудь вопрос. Я не такая обидчивая, как Сюзи, и не такая вообразала, как Шанталь. Я всегда готова выслушать человека, если он чем-то расстроен: когда Сюзи ссорится с Люси или Даниэль, она сразу бежит не к Шанталь, а ко мне, — но стоит мне решить, что отношения у нас с ней налаживаются, как она придумывает какую-нибудь новую пакость. Например, фотографирует меня своим мобильным телефоном в физкультурной раздевалке, а потом всем эти фотографии показывает. А если я прошу ее: «Сюзи, не делай этого», она снисходительно на меня смотрит и смеется: «Ты что, это же просто шутка», вот и приходится смеяться, даже если мне совсем не смешно, иначе скажут, что у меня нет чувства юмора. Но мне это действительно не кажется смешным. Как и та игра с теннисным мячиком — весело только тем, кто не «водит».

В общем, об этом я и размышляла, когда ехала домой на автобусе, а у меня за спиной сидели Сюзи и Шанталь и не переставая хихикали. Я на них не оглядывалась, притворялась, будто читаю книгу, хотя автобус то и дело подпрыгивал и так трясся, что у меня буквы расплывались перед глазами. Если честно, то дело было не только в этом, просто у меня на глазах были слезы; в итоге я просто отвернулась к окну и стала туда смотреть, хотя шел дождь и уже почти стемнело, серые парижские сумерки окутали все вокруг. Мы уже миновали станцию метро на улице Коленкур, следующая остановка была моя.

Может, мне теперь лучше на метро ездить? От станции метро до нашей школы не очень близко, но в метро мне нравится куда больше; мне нравится сладковатый запах на эскалаторах, похожий на запах печенья, и сильный поток воздуха, когда на станцию прибывает поезд, и кишащая толпа пассажиров. В метро можно встретить кого угодно, любых самых странных людей. Представителей любой расы, туристов, мусульманских женщин в чадрах, африканских торговцев, у которых карманы битком набиты поддельными наручными часами, резными украшениями из слоновой кости, всевозможными бусами и браслетами из раковин и бисера. Там встречаются мужчины, одетые как женщины, и женщины, одетые как звезды кино, там люди иногда едят очень странную еду прямо из коричневых бумажных пакетов, а у некоторых прически как у панков, или все тело в татуировке, или кольца в бровях; там можно увидеть и нищих, и уличных музыкантов, и карманных воров, и пьяниц...

Но мама предпочитает, чтобы я ездила на автобусе.

Ну конечно. Кто бы сомневался.

Сюзанна у меня за спиной захихикала, и я поняла, что она снова сказала про меня какую-то гадость. Я встала и, не обращая на нее внимания, двинулась к переднему выходу.

И тут вдруг увидела Зози, стоявшую в проходе. Сегодня она свои леденцовые туфельки не надела, зато на ней были сапоги на высоченной платформе, пурпурного цвета, с пряжками,

короткое черное платье, надетое поверх лимонно-зеленого свитера с высоким горлом, а в волосах светилась ярко-розовая прядь. В общем, выглядела она сногшибательно!

И я не смогла удержаться — так ей и сказала.

Я была почти уверена, что она успела меня позабыть, но оказалось, что не забыла.

— Анни! Ты ли это! — Она чмокнула меня в щеку. — О, как раз моя остановка. А ты разве не выходишь?

Оглянувшись, я успела заметить, как уставились на нас Сюзанна и Шанталь, от удивления они даже хихикать перестали. Впрочем, вряд ли кто-то из них решился бы смеяться над Зози. Да и она вряд ли обратила бы на них внимание, если б они даже и захихикали. Я видела, что Сюзанна так и сидит с раскрытым ртом (ей-богу, не самое лучшее выражение лица!), а Шанталь рядом с нею просто позеленела, став почти такого же цвета, как свитер Зози.

— Твои подружки? — спросила Зози, когда мы вышли из автобуса.

— Хм, вроде бы, — презрительно хмыкнула я.

Зози рассмеялась. Она вообще много смеется, даже, пожалуй, не смеется, а громко хохочет, и ее, похоже, ничуть не заботит, что на нее оглядываются. В сапогах на платформе она казалась очень высокой. Жаль, что у меня таких нет!

— А почему бы и тебе такие сапоги не завести? — спросила Зози.

Я только плечами пожала.

— Должна сказать, тебе бы это... весьма пошло. — Мне понравилось, как она это сказала: глаза у нее блестели так искренне, они никогда так не блестят у тех, кто над тобой подшучивает. — Но сейчас, вынуждена признать, вид у тебя самый что ни на есть обыкновенный. Улавливаешь мою мысль?

— Мама не любит, когда мы выглядим иначе, чем все остальные.

Зози удивленно вскинула бровь:

— Вот как?

И снова я лишь молча пожала плечами.

— Ну ладно. Каждому, как говорится, свое. Послушай, тут, чуть дальше, есть чудное маленькое кафе, где подают самые замечательные в мире пирожные с кремом — так, может, зайдем ненадолго, отпразднуем?

— Что отпразднуем? — не поняла я.

— А то, что я вскоре стану вашей соседкой!

Ну, я, разумеется, знаю, что никуда нельзя ходить с незнакомыми людьми. Мама достаточно часто это повторяет, да и невозможно жить в Париже, не приобретя привычки к осторожности. Но в данном случае все было иначе — это же была Зози! И кроме того, она пригласила меня в общественное место, в кафе «Английский чай», которого я прежде даже не замечала, где, по ее словам, подают совершенно восхитительные пирожные.

Одна я бы туда ни за что не пошла. В таких местах я всегда чувствую себя не в своей тарелке. Вот и теперь я нервничала — стеклянные столики, дамы в мехах, пьющие какой-то немыслимый чай из тончайших фарфоровых чашечек, официантки в коротеньких черных платьицах... И все, словно не веря собственным глазам, дружно на нас уставились — на меня, одетую в школьную форму и растрепанную, и на Зози в ее пурпурных сапогах на платформе.

— Я обожаю это место, — тихо сказала мне Зози. — Здесь так весело. И здесь ко всему относятся так серьезно...

К ценам здесь, видимо, тоже относились очень серьезно. К моей жизни, во всяком случае, эти цены никакого отношения не имели: десять евро за чашку чая, двенадцать — за чашку горячего шоколада!

— Ничего страшного. Я угощаю, — успокоила меня Зози, и мы уселись за столик в углу, а надменная официантка, похожая на Жанну Моро¹, вручила нам меню с таким видом, словно это причиняло ей невыносимые страдания.

¹ Моро Жанна (р. 1928) — знаменитая французская актриса, снималась в фильмах Антониони, Трюффо, Маля, Бунуэля и др. Далее упоминается фильм Трюффо «Жюль и Джим» (1962).

— Ты знаешь Жанну Моро? — вдруг спросила Зози, удивленно на меня глядя.

Я кивнула, по-прежнему чувствуя себя не в своей тарелке, и сказала:

— Да, в «Жюле и Джиме» она просто потрясающая.

— Вот уж про Жанну Моро точно не скажешь, будто ей кочергу в задницу воткнули! В отличие от этой особы.

И Зози глазами указала на нашу официантку, которая, прямо-таки сияя, вилась теперь возле двух весьма дорогого вида крашенных блондинок.

Я не выдержала и фыркнула. Блондинки посмотрели на меня, потом на пурпурные сапоги Зози и дружно склонили головы друг к другу, и я тут же вспомнила Сюзи и Шанталь. У меня даже во рту пересохло.

Зози, должно быть, что-то прочла по моему лицу, перестала улыбаться и с озабоченным видом спросила:

— В чем дело?

— Не знаю... Просто показалось, что эти дамы над нами смеются.

Мне хотелось объяснить ей, что как раз в такие места и ходят Шанталь с матерью. И в обществе худющих дам в дорогом кашемире пастельных тонов пьют чай с лимоном, а на пирожные и внимания не обращают.

Зози элегантно скрестила свои длинные ноги и пояснила:

— Это потому, что ты не клон. Вот клонам здесь самое место. А всяким чудикам сюда вход воспрещен. Спроси-ка меня, кого я предпочитаю?

Я пожалала плечами.

— Догадываюсь.

— Но до конца ты не убеждена. — Зози коварно улыбнулась. — Ладно, смотри.

И она слегка щелкнула пальцами, направив их на официантку, похожую на Жанну Моро. И в ту же секунду эта официантка поскользнулась на своих высоких каблуках и грохнула на столик чайник, полный лимонного чая, насквозь

промочив скатерть и сильно обрызгав сумочки дам и их дорожные туфли.

Я молча посмотрела на Зози.

А она только улыбнулась в ответ.

— Хороший фокус, верно?

И тут я расхохоталась. Для всех, разумеется, это было чистой случайностью, которую никто не смог бы предвидеть, но я-то не сомневалась: именно Зози заставила чайник упасть, а официантку — суетиться возле облитого чаем столика и блондинок в пастельном кашемире и дорожных туфлях. Чтобы никто больше не смел на нас глазеть или смеяться над вызывающими сапогами Зози!

Так что мы преспокойно заказали себе пирожные и кофе. Зози предпочла пирожное с кремом, заявив, что уж она-то никаких диет соблюдать не намерена, а я — миндальное. Мы пили кофе, ели ванильное мороженое и проболтали куда дольше, чем я думала; мы говорили о Сюзанне, о школе, о разных книгах, о моей маме, о Тьерри и о нашей chocolaterie.

— А здорово, должно быть, в магазине, торгующем шоколадом, — сказала Зози, надкусывая пирожное.

— Ничего, но в Ланскне было лучше.

Зози посмотрела на меня с явной заинтересованностью.

— Что такое Ланскне?

— Одно место. Мы там раньше жили. Это на юге. Вот там действительно было здорово!

— Неужели лучше, чем в Париже?

Она, казалось, была искренне удивлена.

И я рассказала ей о Ланскне и о нищем районе Марод на берегу реки, где мы с Жанно обычно играли; и об Арманде, и о речных людях, и о плавучем доме Ру со стеклянной крышей и прикрепленной к борту маленькой шлюпкой с маленькими легкими веслами, и о том, как мы с мамой готовили шоколад и поздним вечером, и ранним утром, так что все в доме пропахло шоколадом, даже пыль...

Позже мне и самой было удивительно, что я так разболталась. Вообще-то мне не полагалось об этом рассказывать, как и обо всех прочих местах, где мы жили до Парижа. Но с Зози я никакой опасности не чувствовала. Наоборот, с ней мне было совершенно спокойно.

— Но скажи: теперь, когда мадам Пуссен умерла, кто же будет помогать твоей матери? — спросила Зози, чайной ложечкой выбирая со дна остатки мороженого.

— Ничего, мы справимся, — сказала я.

— А Розетт уже ходит в школу?

— Нет еще. — Мне почему-то не хотелось рассказывать ей о Розетт. — Хотя она очень способная. И здорово умеет рисовать. И все может знаками объяснить. И даже слова в книжке пальчиком показывает, когда ей читаешь.

— Вы с ней не очень-то похожи.

Я пожала плечами и промолчала.

Зози остро на меня глянула, и глаза ее блеснули, словно она собирается еще что-то сказать. Но она так ничего и не сказала. Доела мороженое и вздохнула:

— Должно быть, плохо, когда отца нет.

Я опять пожала плечами. Разумеется, отец у меня есть — мы просто не знаем, кто он, — но уж это-то я точно не собиралась с ней обсуждать.

— Вы с матерью, наверное, очень близки?

— Угу, — кивнула я.

— Да, вот с ней вы как раз очень похожи... — Зози не договорила, улыбнулась, но как-то скованно, словно пытаюсь решить в уме некий не дающий ей покоя вопрос. — Есть в вас обеих что-то такое — верно ведь, Анни? — чего я никак не могу определить...

Ну, тут уж я, разумеется, предпочла промолчать. Это всегда безопаснее, как говорит мама, иначе твои же слова потом могут использовать против тебя самой.

— Что ж, во всяком случае, ты точно не клон, в этом нет ни малейших сомнений. Мало того, я спорить готова: ты тоже кое-какие фокусы знаешь...

— Фокусы?

Я тут же вспомнила об официантке и разлитом лимонном чае. И отвернулась. И снова мне стало не по себе и страшно захотелось, чтобы нам поскорее принесли счет, можно было сказать «до свидания» и убежать домой.

Но наша «Жанна Моро» явно нас избегала; она болтала с барменом, смеясь и кокетливо отбрасывая назад волосы, как это иногда делает Сюзи, заметив неподалеку Жана-Лу Рембо (это один мальчик, который ей нравится). Кроме того, я заметила у официантов и официанток одну особенность: даже если они обслуживают вас вовремя, то счет все равно нести не спешат.

И тут Зози сделала какое-то маленькое движение скрещенными пальцами — такое незаметное, что я чуть его не пропустила. Такой крошечный жест, словно поворачиваешь выключатель в комнате, и «Жанна Моро» вздрогнула, обернулась, словно ее кто кольнул, и в ту же секунду принесла нам на подносе счет.

Зози улыбнулась и взяла свою сумочку. «Жанна Моро» ждала, причем с таким недовольным и скучающим видом, что я почти не сомневалась: сейчас Зози скажет что-нибудь этакое — в конце концов, человек, который запросто произносит слово «задница» в чопорном английском кафе, нигде не станет стесняться, если нужно будет высказать свое мнение.

Однако Зози ничего не сказала.

— Вот вам пятьдесят евро. Сдачу можете оставить себе.

И она вручила официантке банкноту в пять евро.

Вот это да! Даже мне было видно, что это пятерка. Я видела совершенно отчетливо, как Зози с улыбкой положила ее на поднос. Но официантка почему-то ничего не заметила. Она даже поблагодарила:

— Merci, bonne journée¹.

А Зози снова незаметно шевельнула пальцами и как ни в чем не бывало убрала сумочку.

А потом она повернулась ко мне и подмигнула.

Секунду я колебалась; может, мне просто показалось? И вообще, это ведь могло получиться и чисто случайно — в конце концов, народу в кафе полно, официантка постоянно занята, всем людям свойственно иногда ошибаться...

Но после приключения с чайником...

А Зози продолжала улыбаться мне, как кошка, которая запросто может тебя оцарапать, даже если сидит у тебя на коленях и мурлычет.

«Фокусы» — так она сказала.

«Случайность», — подумала я.

Я вдруг пожалела, что пошла сюда; пожалела, что окликнула ее в тот день, когда впервые увидела у нашей витрины. Это всего лишь игра — это ведь даже не по-настоящему! — однако от этого исходит ощущение такой опасности, словно от спящего чудовища, которое можно сколько угодно пихать, толкать и дразнить, но только до тех пор, пока оно окончательно не проснется.

Я посмотрела на часы.

— Мне надо идти.

— Анни, успокойся. Всего только половина пятого...

— Мама беспокоится, если я задерживаюсь.

— Пять минут роли не играют...

— Мне надо идти.

Наверное, я ожидала, что она как-нибудь меня остановит, заставит меня повернуть обратно, как ту официантку. Но Зози просто улыбалась, и я вдруг почувствовала себя полной дурой. Зря я все-таки поддаюсь панике! Ведь некоторые люди очень внушаемы. И эта официантка наверняка из таких. А может, они обе просто ошиблись... или, может, это я ошиблась?

¹ Спасибо, удачного дня (*фр.*).

Нет, я не ошиблась. Я это знала. И она тоже знала, что я все видела. По ней это было сразу заметно. Да и смотрела она на меня так — с этакой полуулыбкой, — словно мы с ней только что разделили нечто большее, чем просто пирожные...

Я знаю, это опасно. Но она мне так нравится. Действительно очень нравится.

И мне вдруг захотелось сказать ей что-нибудь такое, чтобы она поняла...

И я, повинувшись внезапному порыву, повернулась к ней и, увидев, что она все еще улыбается, весело спросила:

— Послушайте, Зози — это ваше настоящее имя?

— Послушай, — передразнила она меня, — а тебя действительно зовут Анни?

— Ну... — Я настолько опешила, что чуть было все ей не выложила. — Мои настоящие друзья зовут меня Нану.

— А их у тебя много? — с улыбкой спросила она.

Я рассмеялась и показала ей один-единственный палец.

Глава 2

6 ноября, вторник

Какая интересная девочка! В каком-то отношении она кажется младше своих сверстниц, но в чем-то другом она значительно их старше; она не испытывает ни малейшей трудности, разговаривая со взрослыми, а вот с детьми ей, похоже, зачастую сойтись сложно, она словно пытается опуститься до их уровня знаний. Со мной она вела себя совершенно открыто: была то смешливой и разговорчивой, то задумчивой и упрямой, но тут же инстинктивно насторожилась, стоило мне коснуться — хотя бы поверхностно — темы ее непохожести на других.

Разумеется, ни один ребенок не хочет, чтобы его считали не таким, как все остальные дети. Но осторожность Анни свидетельствует о чем-то гораздо более глубоком. Такое ощущение, будто она пытается скрыть от всех некое свое качество,

которое, если его обнаружат, может оказаться весьма опасным для других людей.

Впрочем, другие люди, возможно, его и не заметят. Но я-то — не другие! И я чувствую, как сильно меня к ней тянет, так сильно, что я не могу этому противиться.

Интересно, а она понимает, кто она такая? Сознает ли это хотя бы отчасти? Догадывается ли, что на самом деле таится в ее маленькой замкнутой душе?

Сегодня мы с ней снова встретились. Она возвращалась домой из школы и держалась со мной... нет, не то чтобы холодно, но, безусловно, куда менее сердечно, чем вчера, словно поняла, что преступила некую заповедную черту. Я уже сказала, какой это потрясающе интересный ребенок, и особый мой интерес связан именно с тем, что я отчетливо чувствую в ней некий вызов. По-моему, она вполне восприимчива к определенным соблазнам, но ведет себя осторожно, очень осторожно, придется действовать без спешки, если я не хочу ее отпугнуть.

Так что мы с ней просто немного поболтали — причем я ни разу не упомянула ни о ее непохожести на других, ни о том месте, которое она называет Ланскне, ни об их шоколадной лавке — и разошлись, но перед этим я успела сообщить ей, где теперь живу и работаю.

Работаю? Работа нужна каждому. Мне лично она служит как бы извинением, прикрытием для моих забав, позволяет находиться среди людей, наблюдать за ними, узнавать их маленькие тайны. В деньгах я, естественно, не нуждаюсь, а потому в принципе могу согласиться на любую работу, если это предложение меня устраивает. Собственно, это была единственная работа, которую любая девушка без труда может найти в таком месте, как Монмартр.

Да нет, это совсем не то, что вы подумали! Конечно же, я имела в виду работу официанткой!

Официанткой в кафе я уже работала, но очень давно. Теперь-то мне совсем не обязательно было этим заниматься — зарплата весьма посредственная, а рабочий день гораздо длиннее, — но, по-моему, роль официантки очень подходит Зози де л'Альба, а кроме того, это дает мне отличную возможность наблюдать за соседями.

Кафе «Крошка зяблик» приткнулось на углу улицы Фальшивомонетчиков; это весьма старомодное заведение, возникшее в те годы, когда Монмартр переживал не самую лучшую пору своей жизни и пользовался дурной репутацией; помещение довольно темное, с закопченными стенами, покрытыми толстым слоем жирной грязи и никотина. Его хозяину, Лорану Пансону, шестьдесят пять лет, он — уроженец Парижа, обладатель весьма воинственного вида усов и весьма скудных представлений о личной гигиене. Как и сам Лоран, его кафе привлекает в основном представителей старшего поколения — тех, кто предпочитает умеренные цены и привычное *plat du jour*; сюда также с удовольствием ходят такие эксцентричные особы, как я, которым нравится импозантная грубоватость хозяина и экстремистские высказывания его пожилых завсегдаев насчет политики.

Туристы предпочитают площадь Тертр с ее хорошенькими маленькими кафе и столиками в тени больших зонтов, расставленных прямо на мощеной мостовой. Они часто заходят также в роскошную кондитерскую в стиле ар-деко у подножия Холма, где потрясающий выбор пирожных, тортов и засахаренных фруктов. Или в магазин-кафе «Английский чай» на улице Рапе. Но меня туристы не интересуют. Меня интересует *chocolaterie* на той стороне площади. Отсюда мне отлично видно, кто входит в лавку и выходит оттуда; я могу пересчитать всех покупателей, проследить за доставкой товаров и в целом познакомиться с ритмом ее скромной жизни.

Те письма, что я украла в самый первый день, в практическом отношении оказались почти бесполезными. Присланный по почте счет от 20 октября с пометкой «ОПЛАЧЕ-

НО НАЛИЧНЫМИ» от фирмы «Sogar Fils», снабжавшей лавку различными товарами. Ну скажите, кто в наши дни платит наличными? Чрезвычайно непрактичная, бессмысленная форма оплаты — неужели у этой женщины нет счета в банке? — и главное, я-то осталась в прежнем неведении.

Во втором конверте была открытка с соболезнованиями по поводу кончины мадам Пуссен, с подписью «Тьерри» и с поцелуем в конце. Судя по почтовому штемпелю, открытку отправили из Лондона; а после легкомысленного «целую» было еще «вскоре увидимся, пожалуйста, ни о чем не беспокойся».

Ладно, это пока отложим, может, потом понадобится.

Третье послание — поблекшая открытка с видом Роны — оказалось еще менее информативным.

«Направляюсь на север. Заеду, если смогу».

Вместо подписи стояла буква «Р»; адресат обозначен только буквами «Я» и «А», написанными так небрежно, что «Я» куда больше походило, скажем, на «В».

В четвертом конверте были рекламные листовки с предложениями финансовых услуг.

И все же я уговариваю себя: не спешу, время еще есть.

— Эй! Ты-то мне и нужна!

Опять этот художник. Теперь я с ним уже хорошо знакома: его зовут Жан-Луи, а его друга в берете — Пополь. Я часто вижу их в «Зяблике», они пьют пиво и пытаются уболтать богатых посетительниц. Пятьдесят евро за набросок карандашом — ну, скажем, десять за набросок и сорок за лесть, — и они прямо-таки оглушат вас своими разглагольствованиями об изящных искусствах. Жан-Луи — прирожденный чаровник, особенно легко попадают к нему на крючок всякие простушки; по-моему, главной основой его успеха как раз и является эта настойчивость, а не талант.

— Я все равно ничего у тебя не куплю, так что не трать времени зря, — заявила я, увидев, что он уже открыл свой этюдник.

— Тогда я продам твой портрет Лорану, — сказал он и подмигнул мне. — Или себе на память оставлю.

Пополь взирает на все это с полнейшим равнодушием. Он старше своего дружка и ведет себя гораздо спокойнее. Он вообще говорит мало, стоит себе перед мольбертом где-нибудь в уголке и, сердито хмурясь, на него смотрит, время от времени начиная что-то яростно чиркать карандашом или с пугающей интенсивностью малевать красками. У него устрашающего вида усы, и ему ничего не стоит заставить своих заказчиков сидеть неподвижно, пока он, насупившись и что-то гневно бормоча себе под нос, не завершит работу. Зачастую изображенная на полотне или бумаге фигура обладает столь причудливыми пропорциями, что, по-моему, заказчики просто от испуга почтительно с ним расплачиваются.

Пока я пробиралась между столиками кафе, Жан-Луи продолжал набрасывать карандашом мой портрет.

— Предупреждаю: я запишу это тебе в долг, — сказала я. — За позирование.

— А ты посмотри на эти лилии, — легкомысленным тоном возразил Жан-Луи. — Они же не трудятся, но и не требуют платы за то, что кто-то ими любит.

— У лилий не бывает счетов, которые нужно оплачивать.

Утром я зашла в банк. На этой неделе я заходила туда каждый день. Ведь если бы я сразу сняла со счета двадцать пять тысяч евро наличными, это, безусловно, привлекло бы ко мне совершенно ненужное внимание, а если снимать часто, но понемногу — по одной, по две тысячи, — об этом вряд ли вспомнят уже к концу рабочего дня.

Хотя излишне расслабляться все же никогда не стоит.

Так что в банк я вошла не как Зози, а как та бывшая моя коллега, на имя которой я и открыла счет, — Барбара Бошан, секретарша с безупречной банковской историей. Ради этого я специально оделась тускло и невыразительно. Как известно, стать абсолютно невидимой невозможно (не говоря уж о том,

что это чрезвычайно подозрительно), а вот сделать свой облик тусклым и неприметным может любой человек, и одетая столь неопределенным образом женщина, в шерстяной шляпке и перчатках, может практически всюду сойти за невидимку.

Именно поэтому я сразу, еще у стойки, все и почувствовала: некое странное, слишком пристальное внимание, тревогу, читавшуюся в цветах их аур, какие-то необычные запахи и звуки. И наконец меня попросили подождать — чего никогда раньше не было! — пока принесут требуемую сумму наличными.

Я не стала ждать подтверждения моих подозрений и вышла из банка сразу же, как только кассир от меня отвернулся. Затем сунула чековую книжку и кредитную карточку в конверт и опустила его в ближайший почтовый ящик. Адрес я, естественно, указала фиктивный — требование вернуть незаконным образом снятые со счета деньги еще месяца три будет кочевать по почтовым отделениям, пока не окажется среди невостребованных писем, где его уже никому не найти. Если мне когда-нибудь понадобится отделаться от очередного тела, я поступлю точно так же: тщательно упакую руки, ступни и куски торса и разошлю по вымышленным адресам, и они будут бродить по всей Европе и возвращаться обратно, пока полиция тщетно будет искать опустевшую могилу.

Нельзя, правда, сказать, что убийства мне по вкусу. И все же, как говорится, не зарекайся. Я нашла подходящий магазин одежды, где можно было вновь превратиться из мадам Бошан в Зози де л'Альба, и кружным путем, внимательно приглядываясь к любой подозрительной мелочи, вернулась в свою жалкую квартиру — «ночлег и завтрак» — у подножия Монмартрского холма, чтобы как следует подумать о будущем.

Черт побери!

Двадцать две тысячи евро так и остались на фальшивом счете мадам Бошан — эта сумма стоила мне полугода надежд, намерений и расследований, а также долгой работы над очередной своей ролью. Но теперь мне эти денежки, разумеется,

не забрать, хотя вряд ли меня можно будет узнать по нечеткой видеозаписи, сделанной банковской камерой слежения; скорее всего, этот счет просто был уже заморожен в связи с начатым полицейским расследованием. А значит, двадцать две тысячи потеряны навсегда и я осталась ни с чем, если не считать еще одного амулета на моем магическом браслете — крошечной мышки, как ни странно полностью соответствующей облику бедняжки Франсуазы.

Самая же печальная истина, повторяю я себе, в том, что у истинного мастерства больше нет будущего. Шесть зря потраченных месяцев — и снова я у разбитого корыта. Ни денег, ни достойной жизни.

Ну, последнее-то вполне поправимо. Требуется всего лишь немножко вдохновения. Итак, начнем с этой шоколадной лавки, верно? С этой Вианн Роше из Ланскне, которая по неведомым пока причинам переименовала себя в Янну Шарбонно, мать двоих детей, уважаемую вдову, ныне проживающую на Монмартрском холме.

Неужели я почувствовала в ней родственную душу? Нет. Зато некий вызов распознала сразу. И хотя в данный момент эта chocolaterie едва позволяет Янне сводить концы с концами, жизнь ее все же представляется мне не лишенной привлекательности. И разумеется, меня весьма интересует ее дочка. Очень интересует!

Я живу недалеко от бульвара Клиши, в десяти минутах ходьбы от площади Фальшивомонетчиков. У меня две комнаты размером с почтовую марку, куда ведут четыре пролета узкой лестницы, но это жилье достаточно дешевое, так что вполне мне подходит, да и место укромное, и никто здесь меня не знает. Отсюда я могу наблюдать за близлежащими улицами, здесь я могу совершенно спокойно обдумывать свои доходы и расходы, вынашивать планы и постепенно становиться персонажем задуманного сценария.

Это, конечно, не квартира на Холме, которая мне совершенно не по карману. И вообще, если честно, это довольно

ощутимый шаг вниз после той симпатичной квартирki в 11-м округе, где жила Франсуаза Лавери. Но Зози де л'Альба там не место, ей вполне подходит скромненький, так сказать, стульчик на дальнем конце стола. В соседях у меня кого только нет — студенты, владельцы магазинов, иммигранты, всевозможные массажистки (как с лицензией, так и без). Вокруг, буквально на каком-то пяточке, уместилось полдюжины разных церквей (разврат и религия — сиамские близнецы, как известно); мусора на нашей улице больше, чем опавших листьев, и над ней висит вечный запах сточных канав и собачьего дерьма. На этой стороне Холма хорошенькие маленькие кафе сменяются дешевыми забегаловками и палатками, торгующими без лицензии, вокруг которых по ночам кучкуются бродяги; они пьют дешевое красное вино из бутылок с пластиковыми пробками, а потом заваливаются спать прямо у дверей, закрытых стальными жалюзи.

Мне, наверное, очень скоро все это надоест, но сейчас нужно на время залечь, чтобы интерес к мадам Бошан и Франсуазе Лавери сам собой улегся. Лишний раз проявить осторожность, мне кажется, не помешает, да и мать моя всегда повторяла, что вишни следует рвать не торопясь.

Глава 3

8 ноября, четверг

Ожидая, пока мои вишни созреют, я ухитрилась собрать довольно много сведений о тех, кто проживает на площади Фальшивомонетчиков. Мне их сообщила мадам Пино, маленькая женщина, похожая на куропатку, которая держит магазинчик, торгующий газетами, журналами, сувенирами и всякой всячиной, и обожает сплетни; она-то и познакомила меня заочно с соседями — разумеется, в ее собственном восприятии.

Благодаря ей я узнала, что Лоран Пансон посещает бар для холостяков; что толстый молодой человек, работающий в итальянском ресторане, весит более трехсот фунтов, но по крайней мере два раза в неделю заходит в мою chocolaterie; что женщину с собакой, которая бывает там каждый четверг около десяти утра, зовут мадам Люзерон, что ее муж в прошлом году скончался от удара, а сын умер давно, когда ему было всего четырнадцать лет. По словам мадам Пино, она каждый четверг ходит на кладбище, ведя на поводке свою «глупую собачонку», и ни одного четверга ни разу не пропустила, бедняжка.

— А что известно о теперешней хозяйке chocolaterie? — спросила я, беря с полки «Пари матч» (ненавижу «Пари матч»!).

На остальных полках, ниже и выше, расположились всякие религиозные побрякушки: пластмассовые Богородицы, дешевая керамика, шарики со «снегом» и собором Сакре-Кёр внутри, медальоны, распятия, четки, всевозможные благовония. Я подозреваю, что мадам Пино — самая настоящая ханжа: она только глянула на обложку моего журнала (с фотографией Стефании, принцессы Монако, радостно скачущей в бикини по какому-то пляжу) и сразу осуждающе поджала губы куриной гузкой.

— Да о ней, пожалуй, и сказать-то нечего, — нехотя ответила она. — Муж у нее умер. Говорят, где-то на юге. Но она оказалась живучей, как кошка, которая всегда на четыре лапы падает. — Ее болтливый рот опять стал похож на куриную гузку. — Пари держу, она скоро опять замуж выскочит!

— Вот как?

Мадам Пино кивнула.

— Ну да, за Тьерри Ле Трессе. Дом-то ему принадлежит. Мадам Пуссен он его задешево сдавал, потому что она вроде бы с его матерью дружила. Там он с мадам Шарбонно и познакомился. Я другого такого трудяги в жизни не встречала... — Она со звоном выбила мне чек. — Вот только он, по-моему, не представляет себе, что его ждет! Она-то ведь лет на двадцать

его моложе, а он вечно занят, вечно при деле... Да еще у нее двое детишек, и одна из девочек не такая, как все...

— Не такая? — переспросила я.

— Ой, разве вы не слышали? Бедняжка. Такое для любого тяжкая ноша, так ведь и это еще не все! Магазин-то еле дышит — еще бы, при таких-то накладных расходах! Да еще и за отопление нужно платить, и за аренду, и...

Я не стала ее прерывать: пусть поговорит вволю. Без сплетен такие, как мадам Пино, просто жить не могут; по-моему, я тоже успела дать ей немало пищи для размышлений. Моя розовая прядь в волосах и пурпурные сапоги — тема весьма многообещающая. Затем я сердечно с ней попрощалась и вышла из магазина, чувствуя, что взяла неплохой старт, а потом вернулась в «Крошку зяблика», где теперь работаю.

Это кафе оказалось на редкость удобным наблюдательным пунктом. Отсюда мне отлично видно, кто бывает в chocolaterie у Янны, я могу следить за доставкой товаров и не спускать глаз с ее детей.

Малышка, по-моему, — сущее наказание: не шумная, но страшно проказливая; несмотря на крохотный рост, она оказалась старше, чем я предполагала. По словам мадам Пино, ей уже года четыре, но говорить она пока не умеет, хотя вполне успешно пользуется языком жестов. Этот ребенок «не такой, как все», повторяет мадам Пино с той неприязненной легкой усмешкой, с какой она обычно говорит и о чернокожих, и о евреях, и о любителях путешествий, и даже о людях, вполне политически корректных.

Не такая, как все? Это несомненно. Но насколько эта девочка отличается от других, мне еще предстоит узнать.

Разумеется, я наблюдаю и за Анни. Из окон «Зяблика» мне видно, как она утром, часов в восемь, уходит в школу и возвращается примерно в половине пятого; при встречах она вполне живо болтает со мной об уроках, о приятелях, об учителях, о тех, кого она видит в автобусе. Что ж, по крайней мере, начало положено, но я по-прежнему чувствую: она пытается что-то

от меня скрыть. Отчасти мне это даже нравится. Я могла бы использовать таящуюся в ней силу — при правильном воспитании она, не сомневаюсь, далеко пойдет — ну и потом, как известно, самое интересное в процессе совращения — это не финал, а охота на жертву.

Однако мне уже стала надоедать работа в «Крошке зяблике». Жалованье за первую неделю с трудом покрывает мои расходы, а угодить Лорану оказалось крайне сложно. Но хуже всего то, что я ему явно приглянулась — это заметно по тому, как он стал заботиться о своей внешности, прилизывать волосы и так далее.

Я знаю, мое дело всегда связано с риском. Вот на Франсуазу Лавери мой нынешний хозяин никогда бы внимания не обратил. И совсем другое дело — Зози де л'Альба; она очаровательна, хотя он этого и не понимает. Иностранцев Лоран недолюбливает, а у Зози еще и внешность какая-то цыганская, а он цыганам никогда не доверял...

И все же впервые за много лет он, к собственному удивлению, стал задумываться, что бы ему надеть; он откладывает в сторону один галстук за другим — этот слишком кричащий, этот слишком широкий, он размышляет, пойдет ли ему тот или иной костюм, он с подозрением принимает к туалетной воде, которой в последний раз пользовался, собираясь в церковь на чью-то свадьбу, и замечает, что теперь она приобрела довольно противный кисловатый запах и оставляет коричневые пятна на чистой белой сорочке...

Обычно я вполне способна поощрить подобное к себе отношение, подыграть старику, подогреть его тщеславие в надежде на несколько легких краж — кредитной карточки, или небольшой суммы денег, или даже спрятанной в тайнике шкатулки с золотыми монетами, — уж о такой-то краже Лоран никогда бы не заявил в полицию.

В любом другом случае я бы, конечно, именно так и поступила. Но таких мужчин, как Лоран, пруд пруди. А вот таких женщин, как Янна...

Несколько лет назад, когда я носила совсем другое обличье, я как-то пошла в кино на фильм о древних римлянах. Фильм оказался удручающим во всех отношениях: каким-то слишком прилизанным, с фальшивой кровью, с типично голливудской расплатой за грехи и спасением главного героя. Но более всего меня поразили своим неправдоподобием сцены с гладиаторами и еще — зрители на трибунах, созданные с помощью компьютерной графики: они кричали, смеялись и размахивали руками совершенно одинаково и в строго определенные моменты, точно оживший рисунок на обоях. Я тогда, помнится, все удивлялась: неужели создателям этого фильма никогда не доводилось наблюдать за настоящей толпой? Я-то наблюдала, и не раз — мне как раз зрители обычно гораздо интереснее, чем само представление, — и хотя в данном случае «зрители» фон вполне оживляли, но были абсолютно лишены индивидуальных черт, да и поведение их отнюдь не отличалось естественностью.

В общем, Янна Шарбонно напоминает мне тот продукт компьютерной анимации. Или неудачный плод чьего-то воображения. Случайному наблюдателю Янна может показаться фигурой вполне реальной, а на самом деле она всего лишь рисованный персонаж, действующий исключительно по велению своего создателя. К тому же я не вижу у нее ауры, а если аура у нее все-таки есть, то, значит, она мастерски научилась скрывать ее за своими ничего не значащими действиями, как за надежным щитом.

Зато в ее детях так и светится яркая индивидуальность. У детей вообще аура обычно гораздо ярче, чем у взрослых, но Анни, безусловно, сильно выделяется даже среди детей: ее аура цвета крыла синей бабочки, беспечно порхающей в поднебесье.

Кроме того, у нее имеется и кое-что поинтересней — нечто вроде тени, следующей за ней по пятам; я эту «тень» видела не раз, когда они с Розетт играли в переулке возле chocolaterie. Пышные «византийские» волосы Анни вспыхивали золотыми искрами в лучах полуденного солнца, она держала сестренку

за руку, а маленькая Розетт с наслаждением топала прямо по лужам и по пестрым мокрым бульжникам в своих ярко-желтых резиновых сапожках.

Чья же это тень? Кошки, собаки?

Ладно, это мы выясним. Выясним непременно, дайте мне только время. Дай мне время, Нану. Просто дай мне время.

Глава 4

8 ноября, четверг

Тьерри сегодня вернулся из Лондона — принес целый мешок подарков для Анук и Розетт и дюжину желтых роз для меня.

Было уже четверть первого, и я минут через десять собиралась закрываться на обеденный перерыв. Я как раз перевязывала розовой лентой подарочную коробку с миндальным печеньем, мечтая хотя бы часок провести спокойно с детьми (в четверг Анук в школу не ходит). Привычным жестом, повторенным тысячи раз, я завязала красивый бант и провела по туго натянутым концам ленты острием ножниц, чтобы получился красивый завиток.

— Янна!

Ножницы выскользнули из рук, испортив завиток.

— Тьерри! Ты же только завтра должен был приехать!

Тьерри — мужчина крупный, высокий и немного тяжело-весный. В своем кашемировом пальто он практически заполнил собой весь небольшой дверной проем. У него открытое лицо, голубые глаза и густые каштановые волосы, почти не тронутые сединой. Но его руки богача по-прежнему привыкли работать: ногти тщательно отполированы, а на ладонях мозоли и трещины. От него исходит запах сухой штукатурки, кожи, пота, jambon-frites¹ и, временами, преступно-запретный аромат толстой сигары.

¹ Свиной окорок с жареной картошкой (*фр.*).

— Я по тебе соскучился, — сказал он и поцеловал меня в щеку. — Прости, что не сумел вернуться к похоронам. Что, было ужасно?

— Нет. Просто очень печально. Никто не пришел.

— Выглядишь ты просто потрясающе, Янна. И как только тебе это удастся? Как дела в магазине?

— Нормально.

На самом деле это далеко не так: покупательница, которую он видел, была лишь второй за сегодняшний день, не считая тех, кто заходил просто посмотреть. Но это хорошо, что я была занята, когда в лавке появился Тьерри, — миндальное печенье у меня покупала какая-то девушка-китаянка в желтом пальто, она, несомненно, с удовольствием его съест, но, на мой взгляд, ей куда больше понравилась бы клубника в шоколаде. Впрочем, не важно. Мне нет до этого дела. Больше уже нет.

— Где девочки?

— Наверху, — сказала я. — Телевизор смотрят. Как тебе Лондон?

— Потрясающе. Надо было и тебе поехать.

Между прочим, Лондон я знаю достаточно хорошо: мы с матерью почти год там прожили. Не знаю даже, почему я ему об этом не сказала, почему вообще позволяла ему сохранять уверенность в том, что я родилась и выросла во Франции. Наверное, тоже из-за стремления быть как все, а может, боялась, что, если упомяну о своей матери, он, возможно, станет смотреть на меня совсем другими глазами.

Тьерри — человек солидный. Сын каменщика, выбившийся в люди благодаря удачно приобретенной собственности, он крайне мало подвержен воздействию необычного и неопределенного. У него и вкусы стандартные. Он любит хороший стейк, пьет красное вино, обожает детей, неуклюжие каламбуры и дурацкие песенки, предпочитает, чтобы женщины носили юбки, ходит к мессе, хотя, скорее, в силу привычки; относится к иностранцам без предубеждения, но предпочел

бы пореже видеть их рядом с собой. Мне он действительно нравится — и все же мысль о том, чтобы довериться ему... или кому-либо другому...

Впрочем, особой потребности в этом у меня нет. Конфидененты мне никогда не требовались. У меня есть Анук. У меня есть Розетт. Разве мне когда-либо нужен был кто-то еще?

— Что-то ты невеселая, — сказал он, когда девушка-китаянка ушла. — Может, пообедаем вместе?

Я улыбнулась. В мире Тьерри обед — лучшее лекарство от грусти. Есть мне не хотелось, но либо придется обедать с ним, либо он так и проторчит в магазине весь день. Так что я позвала Анук, затем — уговорами и силой — запихнула Розетт в ее пальтишко, и мы двинулись через улицу в кафе «Крошка зяблик», которое очень нравится Тьерри своей «очаровательной обшарпанностью» и жирной едой на грязноватых тарелках, но — по тем же причинам — совершенно не нравится мне.

Анук казалась какой-то беспокойной, а Розетт и вовсе пропустила дневной сон, но Тьерри еще не все выложил мне о своей поездке; на него огромное впечатление производят толпы народа на улицах Лондона, его архитектура, театры и магазины. Его компания восстанавливает и обновляет несколько офисных зданий близ вокзала Кингс-Кросс, а поскольку Тьерри любит сам присматривать за работой, он каждый понедельник отправляется туда на поезде, а домой возвращается только на уик-энд. Его бывшая жена Сара и сын до сих пор живут в Лондоне, но Тьерри все старается убедить меня (словно я в этом нуждаюсь), что они с Сарой давно уже стали чужими друг другу.

А я ничуть в этом и не сомневаюсь: Тьерри вообще увертки не свойственны. Больше всего он любит простой молочный шоколад — плитки в обертке, каких полно в любом супермаркете. Не более 30% чистого какао. Если дать ему попробовать более горький шоколад, он скривится, как маленький мальчик, и высунет изо рта язык, показывая, что ему не вкусно.

Мне нравится энтузиазм Тьерри, а его душевной простоте и полному отсутствию всякого коварства я даже завидую. И возможно, зависть эта сильнее моей любви к нему — но разве это так уж важно?

Мы познакомились с ним в прошлом году, когда у нас вдруг потекла крыша. Большинство домовладельцев в лучшем случае прислали бы рабочего-кровельщика, но Тьерри и мадам Пуссен были давно знакомы (он рассказывал, что она старинная подруга его матери), так что крышу он починил сам, а потом остался выпить горячего шоколада и поиграть с Розетт.

Мы дружим двенадцать месяцев и уже успели превратиться в «старую супружескую пару» со своими любимыми местами и удобными привычками, хотя Тьерри еще ни разу не оставался у меня на ночь. Он считает меня вдовой и трогателен в своем желании «дать мне время». Но я-то вижу, чего он хочет, хоть ничего и не говорит вслух и ничем свои намерения не подтверждает, — так может, это было бы не так уж и плохо?

Он лишь однажды затронул эту тему, упомянув о том, что его роскошной квартире на улице Святого Креста, куда он приглашал нас множество раз, совершенно необходима «женская рука».

Женская рука. Экое старомодное выражение. С другой стороны, Тьерри и сам весьма старомоден. Несмотря на всю свою любовь к техническим новинкам — мобильному телефону и сверхмодному мини-плееру, — он остается верен старым идеалам и прежним, более простым, временам.

Простым. В том-то все и дело. Жизнь с Тьерри была бы очень простой. Всегда хватало бы денег на все необходимое. И арендная плата за chocolaterie всегда вносилась бы вовремя. Анук и Розетт окружали бы любовь и забота. А если он будет любить их — а заодно и меня, — то разве этого не достаточно?

«Неужели тебе действительно этого достаточно, Вианн? — прозвучал у меня в ушах голос матери, странно похожий на голос Ру. — Помнится, когда-то тебе хотелось большего».

«Как и тебе, мама?» — безмолвно отвечаю я. В те времена, когда ты таскала меня, совсем маленькую, с места на место и мы вечно от чего-то убегали, вечно находились в пути, жили — увы — тем, что удавалось добыть. Ты воровала, лгала, обманывала, занималась колдовством; мы проводили на одном месте то полтора месяца, то недели три, а то и всего четыре дня, а потом снова в путь; и у меня не было ни дома, ни школы, а ты торговала вразнос надеждами и мечтами, тасуя карты Таро, словно вехи нашего бесконечного пути, и носила разьежающуюся по швам подержанную одежду, словно все портные вокруг оказались настолько заняты, что им некогда было починить нам платье.

«По крайней мере, мы знали, кто мы такие, Вианн».

Ответ не слишком остроумный, впрочем, именно такого я от нее и ожидала. И кроме того, мне хорошо известно, кто я такая. Разве нет?

Мы заказали китайскую лапшу для Розетт и plat du jour для всех остальных. Народу было совсем мало даже для буднего дня, но в воздухе все равно висел запах пива и сигарет «Житан». Лоран Пансон — сам себе лучший клиент; но если это так, то, по-моему, ему следовало бы давным-давно закрыть свое заведение. Толстомордый, небритый, раздражительный, он воспринимает посетителей как захватчиков, посягнувших на его свободное время, и не скрывает своего презрения ко всем, кроме горстки завсегдатаев, которые по совместительству являются его приятелями.

Тьерри он терпит. Тьерри время от времени играет роль такого парижского нахала, который врывается в кафе с громогласным «Эй, Лоран! Как дела, mon pote?»¹ и припечатывает стойку крупной банкнотой. Лоран считает его богачом, собственником — даже как-то расспрашивал, какова может быть стоимость «Крошки зяблика», если его перестроить и привести в порядок, — и теперь с почтением обращается к

¹ Приятель (фр.).

нему «месье Тьерри», явно его выделяя, что, возможно, связано как с искренним уважением, так и с надеждой на некую будущую сделку.

Я заметила, что сегодня у Лорана вид несколько более презентабельный, чем обычно, — в лоснящемся костюме, пахнет одеколоном, к рубашке даже воротничок пристегнут и галстук повязан, хотя этот галстук впервые увидел свет наверняка где-то в конце семидесятых. Влияние Тьерри, подумала я, но позднее мне пришлось свое мнение переменить.

Я оставила их поболтать, а сама села за столик, заказала кофе для себя и коку для Анук. Когда-то мы обе наверняка заказали бы горячий шоколад со сливками и алтеем, а потом не спеша, с ложечки, пили бы его, но теперь Анук всегда требует коку. Теперь она горячий шоколад не пьет — сперва я решила, что она выдумала себе какую-то особую диету, и меня это, как ни странно, неприятно задело, как и в тот раз, когда она впервые отказалась слушать на ночь сказку. Она все такой же солнечный ребенок, но я все сильнее чувствую, как сгущаются тени в ее душе, скрывая те уголки, куда она меня не приглашает. О, мне эти тени хорошо знакомы! Я и сама была такой же — так не этим ли отчасти вызваны мои страхи, не моим ли пониманием того, что в ее возрасте и мне хотелось сбежать от матери, любым способом скрыться от ее опеки? Официантка в «Зяблике» была новенькой, но отчего-то казалась мне смутно знакомой. Длинные ноги, узенькая юбочка, волосы, завязанные в «лошадиный хвост»... В конце концов я все-таки узнала ее — по туфлям.

— Вы ведь Зоя, верно? — спросила я.

— Зои, — поправила она меня и улыбнулась. — Так себе местечко, верно? — Она с комичной торжественностью поклонилась, приглашая нас пройти в зал. — Впрочем, — и она понизила голос почти до шепота, — хозяин, по-моему, очень мило ко мне относится.

Услышав ее слова, Тьерри громко расхохотался, а Анук осторожно улыбнулась.

— Я тут, разумеется, временно, — заявила Зози. — Пока что-нибудь получше не найдется.

Дежурным блюдом оказалась choucroute garnie¹ — блюдо, которое у меня до некоторой степени ассоциируется с нашей жизнью в Берлине. Удивительно вкусно для «Крошки зяблика», и мне показалось, это связано с появлением Зози, а не с неким вспыхнувшим кулинарным рвением Лорана.

— Скоро Рождество, вам, случайно, помощь в магазине не требуется? — спросила Зози, снимая с гриля жареные колбаски. — Если да, то я готова. — Она быстро оглянулась через плечо на Лорана, старательно делавшего вид, что ему наша беседа совершенно неинтересна, и прибавила чуть громче: — То есть мне, конечно, совсем не хочется бросать эту работу...

Лоран то ли кашлянул, то ли чихнул, то ли фыркнул, желая привлечь к себе внимание, и Зози насмешливо закатила глаза.

— Вы подумайте о моем предложении, — быстро сказала она, улыбнулась мне и, подхватив четыре кружки пива с той ловкостью, которую дают лишь годы работы в баре, потащила их заказчикам.

После этого она с нами почти не разговаривала: народу в баре существенно прибавилось, а мое внимание, как всегда, было поглощено Розетт. И не то чтобы Розетт такой уж трудный ребенок — теперь у нее и аппетит гораздо лучше, хотя дрызгается она по-прежнему ужасно и предпочитает есть руками, — но иногда она действительно ведет себя странно: смотрит немигающим взглядом куда-то в пространство, вздрагивает от каких-то воображаемых звуков или вдруг начинает смеяться без причины. Я очень надеюсь, что постепенно все это у нее пройдет — вот уже несколько месяцев у нас не было никаких Случайностей, и хотя она по-прежнему просыпается три или четыре раза за ночь, так что поспать мне

¹ Свинина с картофелем и кислой тушеной капустой (*фр.*).

удается всего несколько часов, я надеюсь, что с возрастом у нее и сон тоже наладится.

Тьерри считает, что я ее слишком балую, а тут он и вовсе заговорил о том, что Розетт надо бы показать врачу.

— В этом нет никакой необходимости. Она заговорит, когда будет к этому готова, — возразила я, глядя, как Розетт ест лапшу. Вилку она всегда держит в левой руке, хотя вовсе не левша. Да и вообще ручки у нее на редкость ловкие; особенно она любит рисовать и, используя все доступные цвета, без конца рисует маленьких человечков, мужчин и женщин, с ручками и ножками, как палочки, а также обезьян — это ее любимое животное, — лошадей, дома и бабочек; получается пока немного неуклюже, но вполне узнаваемо.

— Ешь как следует, Розетт, — сделал ей замечание Тьерри. — Пользуйся ложкой.

Но Розетт продолжала есть по-своему, словно не слыша его слов. Раньше я даже пугалась, уж не глухая ли она, но теперь понимаю: она просто не считает нужным обращать внимание на столь несущественные для нее вещи. К сожалению, она и на Тьерри внимания почти не обращает, при нем она никогда не смеется, да и улыбается крайне редко, и вообще — никак не желает показать ему, что в ней много хорошего; в присутствии Тьерри она даже знаками объясняется только в случае крайней необходимости.

А дома, с Анук, она и смеется, и играет, и часами может рассматривать свою книжку или слушать радио, кружась под музыку по всей квартире, точно древний дервиш. Дома, где всякие Случайности исключены, Розетт ведет себя хорошо, а когда ей пора спать, мы с ней вместе ложимся в постель, как это было и с Анук, и я пою ей песенки, рассказываю всякие истории. Глазки у нее такие ясные и живые, ярче, чем у Анук, и такие зеленые и умные, как у кошки. Розетт подпевает мне — вполне правильно, — когда я пою колыбельную, которую когда-то пела мне мать. Она, правда, пока что помнит только мелодию, а насчет слов полагается на меня:

V'là l'bon vent, v'là l'joli vent,
V'là l'bon vent, ma mie m'appelle.
V'là l'bon vent, v'là l'joli vent,
V'là l'bon vent, ma mie m'attend¹.

Тьерри говорит, что у нее «немного замедленное развитие», и предлагает мне сводить ее «провериться». Он пока еще, правда, не упоминал об аутизме, но наверняка скоро заговорит и об этом — как и многие мужчины его возраста, он читает «Ле пуан» и считает себя специалистом почти по всем вопросам. Я же, с его точки зрения, всего лишь женщина, да к тому же мать, а потому не могу судить здраво.

— Розетт, скажи «ложка».

Розетт берет ложку и с любопытством на нее смотрит.

— Ну давай, Розетт, скажи, пожалуйста, «ложка».

Розетт ухает, как сова, и ложка в ее руках исполняет на скатерти несколько неуместный короткий танец. Любому бы показалось, что она просто издевается над Тьерри. Я тут же отнимаю у нее ложку. Анук кусает губы, чтобы не рассмеяться.

Розетт смотрит на нее и улыбается.

«Прекрати», — жестами говорит ей Анук.

«Вот дерьмо», — отвечает ей Розетт на том же языке глухонемых.

Я улыбаюсь Тьерри.

— Ей же всего три года...

— Ей почти четыре! Уже достаточно большая.

На лице Тьерри появляется ласковая улыбка, как всегда, когда он чувствует, что я с ним не согласна. Эта улыбка сразу делает его старше и отдаленнее, и в моей душе внезапно пробуждается раздражение — я понимаю, что это несправедливо, но ничего не могу с этим поделать. Терпеть не могу, когда суют нос в мои дела!

¹ Вот снова дует добрый ветер, веселый ветер,
Мой милый друг меня зовет.
Вот снова дует добрый ветер, веселый ветер,
И милый снова меня ждет (*фр.*).